Михаил Семенович Щепкин

**Записки актера Щепкина**

I.

Первые годы детства

17 мая 1836, Москва

Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке[1], в 1788 году ноября 6 числа. Отец мой Семен Григорьевич был крепостной человек графа Волькенштейна, но дед мой был сын священника Иоанна, который священствовал в Калужской губернии Мосальского уезда, в селе Спасе, что на речке Перекше, и потом скончался иеромонахом в Москве, в Андроньеве монастыре, где и прах его почивает; правнук же его и теперь еще священствует в селе Спасе. Это не должно казаться странным, ибо в том веке делалось это часто, так что дед мой не слишком удивился, когда, заснув свободным, проснулся крепостным, а только немного погрустил — и то, разумеется, безотчетно; наконец совершенно привык к новому своему званию. Мать моя Марья Тимофеевна была также из крепостных, пришедшая в приданое за графиней: так уж издавна велось и теперь продолжается, что камердинер молодого господина женится всегда на сенной девушке молодой барыни. Оба они были любимы своими господами, и оба вполне заслуживали такую любовь, ибо они принадлежали к числу тех слуг, каких в наше время уже не встречаешь. Граф и графиня были примерной доброты, хотя оба как люди имели свои недостатки; но эти недостатки так были мелочны, что для людей, им подвластных, при тогдашних обстоятельствах и образе мыслей, не могли быть чувствительны. Отец мой пользовался неограниченной доверенностью графа, а мать -графини.

В первых годах супружества своего родители мои были не слишком счастливы — не семейным несогласием, нет, в этом отношении они были совершенно счастливы, хотя, может быть, и не чувствовали друг к другу любви пылкой и страстной: они жили просто, не рассуждая, жили дружно, мирно и потому счастливо. Но двое первых детей, сын и дочь, родившиеся в первые два года супружества, умерли один за другим, не дав им, как говорят, налюбоваться на себя; вот одно, что заставляло их иногда грустить и задумываться, причем и господа по любви своей к ним, а более по природной доброте, с душевным участием делили их горе. Наконец мать моя сделалась беременна мною; следуя совету старых людей, которые придерживались предрассудков, родители мои положили: ежели бог даст благополучно родить — взять встречных кума и куму, несмотря на то, что первых детей крестил который-нибудь из господ. А потому, когда благополучно явился я на белый свет, крестный отец мой был пьяный лакей, и [крестная] мать — повариха.

Родители мои, кажется, были совершенно счастливы; однако же, несмотря на встречных кумовьев, повивальная бабка (которая, разумеется, была простая крестьянка) чуть было не испортила всего дела. Она, отправляя свою должность, что-то и как-то плохо перевязала, и я едва не изошел кровью. Но, видно, уже так должно было быть, чтобы предрассудок имел еще событие, которое давало бы ему право на большую веру: кто-то вовремя рассмотрел беду, и новой суровой ниткой, ссученной вдвое, так сказать, привязали меня к жизни, и — благодарю бога — по сие время я не имел причин жаловаться на ее непрочность.

Разумеется, я ничего не помню о первых днях моего детства; но по рассказам известно, что я был самый тихий и самый покойный ребенок, чему доказательством может служить следующий случай. Однажды (когда мне было не более восьми недель) мать моя, которая, оправившись от родов, должна была неотлучно находиться при графине, прибежала в свою комнату, чтобы меня выкупать, и только начала мыть — пришел посол от графини, чтобы как можно скорее шла к ее сиятельству. Будучи всегда точной исполнительницей воли господ, она, не размышляя о последствиях, оставила меня в теплой воде и, прося золовку окончить начатое ею, сама тотчас отправилась к графине. Золовка или не вслушалась в просьбу матери, или, может быть, захлопотавшись по хозяйству, забыла; только три часа -спустя мать моя, возвратясь домой, нашла меня в том же самом положении, как оставила, покойно спящего в довольно уже холодной воде. Натурально, она сначала испугалась, а потом обрадовалась, видя минувшую опасность, и невольно вспомнила встречное кумовство. Тогда уже не оставалось никакого сомнения в действительности этой приметы.

По прошествии полугода мать моя, по милости господ, отправляясь для услуг, уже брала и меня с собою, и я имел полное право валяться на господских диванах и пользоваться всеми правами ребенка. А если иногда случалось мне быть не очень вежливым, то граф, по обыкновению, ворчал, а графиня от души смеялась. Такая милость, само собою разумеется, рождала зависть во многих матерях, дети которых не пользовались такою честию.

Таким образом, я рос, быв утешением и родителей и господ, и дорос до четвертого года. В течение этого времени отец мой переменил звание камердинера на звание управителя, что было новым знаком господской милости. Ему вверено было в управление все имение господ, которое состояло из тысячи двухсот душ и было разбросано на семидесяти верстах в окружности, что заставляло его часто отлучаться от семейства, ибо графиня не могла, обойтись без услуг моей матери.

Однажды по делам управления отец мой должен быт ехать в имение, отстоящее от места жительства его верстах в шестидесяти, и как поездка эта делалась на довольно долгое время, то, по словам отца, чтобы ему одному не было так скучно, он решился взять и меня с собою. Мать моя, быв в полном повиновении у мужа, не могла возражать ничего против его воли, хотя мысленно находила множество неудобств и для отца и для меня, и потому, сжав сердце, изъявила согласие на эту поездку и не подала даже виду, что ей это очень не нравилось, тем более что она знала, что всякое возражение, какое б она ни сделала, осталось бы без внимания, ибо отец мой имел довольно сильный характер в семейственном быту, и если он решал что-нибудь — это уже не изменялось. Но, к утешению матери, явилось возражение на отпуск меня с отцом совсем с другой стороны. Графиня, узнав, что хотят увезти ее любимца (так называли меня, видя ласки господ не только к отцу моему и матери, но. даже и к постреленку, все те, кого мучила зависть), решительно объявила отцу, что она меня не отпустит, потому что это невозможно: во-первых, что ей будет без меня скучно; во-вторых, что в такую дальнюю дорогу отпустить ребенка без матери бесчеловечно; в-третьих, что за мной там некому будет и присмотреть, и накормить, и напоить, и, как она знала, что отцу моему надо было отлучаться каждый день из дому по делам, то я должен уже оставаться без всякого присмотра и очень легко мог и ушибиться несчастно и утонуть и проч., и проч.; а всего-то важнее, что ей этого не хочется, что на это есть ее воля. Графиня, при всей своей доброте, была вспыльчива и не любила, чтобы ее воля оставалась без исполнения. Отец же мой всегда не слишком жаловал, чтобы господа вмешивались в дела семейные, а тут и того более: ибо, по его понятиям, я был в таком возрасте, что власть господ не могла еще на меня простираться; ему они могли все приказать, кроме того, когда и как он должен поступать в своем семействе. Решив ни за что не уступать прав отца, но избегая своей настойчивостью довести графиню до раздражения, он прибегнул к просьбам. Мать же, зная лучше характер мужа и видя, что просьбы эти делались таким голосом и такими словами, которые непременно взбесили бы графиню (ибо она твердо была уверена, что отец в этом случае никак не повиновался бы графине, и бог знает, чем бы все это могло кончиться при таких характерах), чтоб только избегнуть этой бури, заглушила в себе чувства матери и предалась совершенно чувству жены. Не предвидя другой развязки и зная хорошо графиню, она присоединила и свои просьбы и доказала так ясно, что все несчастия, какие графиня насчитала, здесь со мною скорее могут случиться, ибо сама она не имеет возможности смотреть за мной, находясь безотлучнр при ней, и что потому графиня, по доброте своего сердца, не, откажет общей их просьбе. Забывая совершенно материнские чувства, боясь только гнева графини, какой мог излиться на ее мужа, в лице которого ясно видела готовность противоречить всему, она со слезами бросилась целовать руку графини. Но истинно доброе сердце уже произвело свое действие, и графиня, найдя средство изъявить свою доброту, не унижая власти госпожи, внутренне была рада; ибо она в самом деле любила отца и мать за их заслуги. Итак, обратясь к моей матери, сказала: "Ну, Маша, только для тебя это делаю; а Семен, право, этого не стоит; он меня не любит, всегда противоречит, и если просит о чем, так это таким тоном, который меня всегда обижает". — "И, матушка ваше сиятельство! вы сами изволите знать, — сказала моя мать, — что он умеет служить, а не говорить". — "Ну, бог с тобой, Семен! возьми Мишу с собой, только, пожалуйста, не дуйся на меня; ты знаешь, как я вас люблю!" — и протянула ему свою руку, которую он от души поцеловал, видя, что все кончилось благополучно. В то время, как решалась моя судьба, когда между тремя действующими загорались страсти, где, с одной стороны, видели неповиновение власти, а с другой — угнетение, и когда все обрадовались, что дело кончилось так мирно (тем более что каждый из трех действующих совершенно понимал, что все они лгали), я в это время преспокойно управлялся с своим завтраком, как будто бы не обо мне была речь.

Эта сцена была как бы недобрым предсказанием для наступающего пути, и в самом деле он окончился хотя благополучно, но после довольно странного происшествия. В дорогу отправился отец мой не один; с ним были муж сестры его, брат ее мужа, еще дворовый человек и я. Ехали мы на двух повозках, запряженных тройками лошадей. Время было летнее, прекрасное — так около Петрова дни. На половине нашего пути надо было покормить лошадей, и потому первое удобное место, то есть где была возможность напоить лошадей и имелся для них подножный корм, заставило отца моего и его спутников сделать привал. Они остановились на полях, принадлежащих князю Юсупову, у которого поблизости находились большие имения и поля простирались на весьма большое пространство; отпрягли лошадей, пустили их на траву, ибо тогда еще не воспрещалось проезжающему покормить лошадей на чужих полях; сами же, выпив водки и закусив припасенными в дорогу ветчиной, гусем и прочим, накормив, разумеется, и меня, легли поотдохнуть в тени своих телег, а мне строго наказали не отходить никуда и не гонять лошадей, которых я было уже начал похлестывать кнутиком; отняв кнутик, усадили меня в телегу и в самом скором времени заснули все весьма крепко. Проснувшись, отец велел напоить еще раз лошадей и тотчас запрягать, дабы раньше прибыть на место… Все это было сделано с расторопностью, лошади запряжены, все уселись, разумеется, как можно покойнее; отец сказал: "пошел!", и добрые кони после четырехчасового отдыха понеслись с новой бодростью; но, не проехав ста сажень, он же крикнул: "Стой! а где же Миша?" Лошади остановлены, но на вопрос: "Где же Миша?" — не было ответа; ибо все этим вопросом так были отуманены, что никто не отвечал ни слова, и, только придя в себя, вспомнили, что и я находился с ними в пути, что было они совершенно забыли. Не могу описать положения, в котором был отец мой и все его спутники; вопросам не было конца, один спрашивал другого: "Да ты, братец, видел, как он ходил около лошадей?" — "Ну, помнишь, я давал ему пить?" — "Э, братцы! это было прежде, а после всего я посадил его на телегу, и, помнишь, Семен Григорьевич приказывал ему не вставать и не гонять лошадей!.." Так толковали спутники отца моего, который, не получив ответа на сделанный вопрос: "Где же Миша?", окинул глазами обе повозки и, не видя меня, припоминал: точно ли взял он меня с собою, и если взял, то где же я? Но по довольно долгом припоминании вспомнил все, к несчастию, и вследствие этого воротился на место, где кормили лошадей; начали все кричать, отходя в разные стороны, и звать меня, полагая, что, вероятно, я, соскучась на телеге, пошел бродить по полю, или цветы рвать, которые пестрели на большом пространстве, или гоняться за бабочками; что, вероятно, отошел на довольное пространство, и как трава была очень высока, то я, возвращаясь к телегам и не видя их, пошел совсем в другую сторону; но со всем тем такой маленький ребенок не мог зайти далеко.

А потому кричали и звали меня довольно долго. И как было все напрасно, то каждый, возвращаясь к отцу, излагал свое мнение. Одни говорили, что, может быть, меня украли цыганы, когда все спали, но нет, это предположение было явно несправедливо: цыганы увели бы тогда и лошадей. Другие толковали, что, вероятно, я, отойдя на большое пространство, и как день был довольно жаркий, то устал, присел отдохнуть и потом заснул в траве; следовательно, стоит только подождать часа два-три, то само собою ребенок проснется и плачем своим сам о себе даст знать, а что отыскать его в такой траве, на таком пространстве вовсе не возможно. Это мнение показалось всем довольно основательно, и потому отец мой решился стоять на месте; а чтобы всё сколько-нибудь ускорить ожидаемую минуту, он упросил всех сесть верхами, ехать по степи в разные стороны, каждого прохожего опрашивать и часа через два возвратиться; сам же остановился у одной из телег, облокотился на нее и простоял до самого возвращения посланных. Что тогда он чувствовал, может представить отец, имеющий одного только сына и бывший в подобном положении. Как он упрекал себя, что поупрямился и взял меня с собою! Потом приходило ему на мысль: что он скажет бедной матери, которая, сжав сердце, разлучилась с сыном? Потом — что скажет графине, которая так неохотно отпустила меня? Все это перепуталось в голове его в таком беспорядке и так быстро мелькало, что из этого не выходило ничего определенного. Так пробыл он до возвращения посланных, так пробыл до самого вечера, не зная, на что решиться; ибо все возвратились без всякого успеха. Наконец и предположение, что я в поле где-нибудь заснул, разрушилось, потому что они простояли уже около четырех часов.

Тут снова пошли толки, догадки, из которых не выходило совершенно ничего, и никто не знал, на что решиться. Все относились в вопросах к отцу, что делать, но он больше всех не знал, что, и, как день клонился уже к исходу, отец машинально сказал: "запрягайте лошадей!" — сам не зная для чего, ибо он не решил еще, что делать: ехать или нет, и если ехать, то куда? Кучера начали впрягать лошадей. В это время проходил мимо них старик-пастух, впереди которого шло довольно большое стадо, и на желание "добры ве-чир", сказанное мимоходом, не получил ответа; это удивило его, заставило взглянуть на тех, кто так сухо принял приветствие, и тут же увидал на их лицах, что с ними что-нибудь случилось. Итак, по доброте, а может быть, и из любопытства, приняв участие, сказал: "Здоровы булы, паны! що вы так сумуете? що з вами зробылось?" Долго никто ему не отвечал; но отец (который ко всему теперь привязывался с тоской и надеждою), думая, что, может быть, пастух даст ему какую-нибудь весть, рассказал ему в коротких словах причину своего горя. "Да, се не добре!" — промолвил пастух и, немного погодя, сказал: "Може, вам покажетця смешно, а послухайте мене старого. Колы прылучилась з вами такая шкода, то вы вже не покидайте того миста, где вона зробы-лась: а простийте тут тры дни, да посылайте в окрестные села и хутора узнавать, и колы бог даст, то, може, и знайдете свою ди-тыну. Далеко ему зайты не можно — ив яку б воно сторону ни пишло, то все набредет або на село, або на хутир, або и так зу-стрине доброго человика: то уже воно все-таки буде звистно, та и я буду роспытываты. Колы ж простоять се время не достане хлиба, то от возьмите — у меня йе шматок, а завтра я ще вам вынесу. Колы ж в тры дни воно не найдетця, то вже, мабуть, его нема близько: може, его недобрый человик украв, може, воно утонуло де в ставу, або, може, — чого боже бороны! — и звиряка его зьив". Ничего не имея в мыслях определенного, отец безусловно согласился с мнением старика, благодарил его за добрый совет и за участие, просил разведывать, и если паче чаяния что узнает, то тотчас известил бы его как можно скорее сам или бы нанял кого, на что предложил несколько денег. Но пастух не принял их и уверял, что, только что узнает, тотчас известит; пожелал им всем благополучно оставаться и побрел своим путем.

Между тем лошади, которых начали было впрягать, по воле отца были отпряжены; им спутали ноги и пустили пастись на свежую траву. Потом сделали осмотр, что у них имеется съестного, и видя, что на вечер очень довольно, похлопотали о свежей воде, которую черпали из близлежащего родника. Таким образом, приготовив все для наступающего ужина и выпив с горя по доброй чарке вина, поели хорошо и разлеглись спать: кто на телеге, кто просто на траве, разумеется, кроме моего отца, который не ужинал и не лег спать, а остался присматривать за лошадьми под предлогом, что люди, целый день ездив верхами в разные стороны на значительное расстояние, очень поустали, и для того им отдых гораздо нужнее; но что как скоро он захочет спать, то разбудит кого-нибудь смотреть за лошадьми. Такого рода распоряжение было совершенно согласно с желанием каждого, и чрез несколько минут разногласный концерт храпения огласил воздух. Остался один отец с тоской на сердце и с тяжелой думой не предузнавая: что завтрашний день? обрадует или совершенно лишит его всякой надежды. Так проходил он целую ночь вокруг спящих товарищей своего пути, и, только что показалось солнце, он всех разбудил. Тотчас, разумеется, все встали, оделись, умылись, помолились богу, кучера напоили лошадей, и на вопрос: что теперь делать? отец упросил родных своих, а прочим приказал: сесть верхами и отправиться в разные стороны, указывая каждому путь и место, до которого он должен ехать осведомляться, а когда все возвратятся, то, отдохнув, можно снова пуститься по другим направлениям, чтоб не пропустить не только села, но даже хутора. Он указал им ехать сперва в одну половину окружности, и если, к несчастию, никаких слухов не будет, то после обеда, отдохнув немного, отправиться в другую и не пропускать ни одного прохожего и проезжего, не опросив его хорошенько. Выслушав наставления, все поскакали в указанные стороны, и чем более отдалялись, тем полукружие, центром которого был мой отец, делалось обширнее; наконец они уже казались вдали какими-то движущимися точками и потом совершенно исчезли.

Оставшись совершенно один, отец почувствовал после сделанного распоряжения какую-то надежду: по его мнению, невозможно было, чтоб поиски остались без успеха. Так утешал он себя во все время, пока не стали возвращаться посланные, — и ни один не принес никакой радостной не только вести, но даже надежды. Итак, в душе отца все приняло прежний образ — та же тоска, та же мука, которой уж не видел и конца… Родные отобедали вместе с людьми, то есть поели кой-чего, что могли купить в ближнем селе; приглашали, между прочим, и отца моего разделить с ними обед, от чего он решительно отказался. После того, отдохнув, поскакали все в противоположные стороны с такою же скоростию; но отец теперь не имел уже прежней надежды и страдал ужасно. Снова посланные возвратились, снова не привезли ничего, ни даже намека; глубже и глубже становилась горесть отца! И пастух, прогоняя свое стадо в урочное время мимо места, где они стояли, не принес никакой вести. Вторая ночь прошла таким же порядком, то есть все спали, кроме отца. Наконец настал роковой день, день, на котором еще как будто мелькала какая-то надежда, с исходом которого все уже должно было рушиться, ибо отец в своем тягостном положении безусловно теперь верил всем предрассудкам, хотя очень часто любил подшучивать на этот счет над другими. Хватаясь как утопающий за соломинку, он снова отправил верхами разведывать, но не всех; одного из кучеров, по долгом размышлении, отправил обратно к господам объявить им несчастие и попросить их прислать человек тридцать верхами, дабы объездить во всей окружности села, деревни, хутора и леса, чтобы по крайности, если уже его нет в живых (так выразился он), то хоть бы кости его отыскать! Как будто по ним он мог узнать меня. Тот нехотя поехал обратно, ибо ехать тридцать верст верхом без седла казалось ему очень невкусно, а особливо после двухдневной скачки. Скрывшись из глаз, он осадил лошадь, поехал шагом с весьма кислой рожей и, не проехав шести или семи верст, заметил, что ошибся в дороге. Это тем более его удивило, что дорога была слишком знакома. Вероятно, он или задумался, или вздремнул немного (хотя последнего вовсе не чувствовал), а потому и не заметил, что лошадь, при разделении дорог, взяла совсем в другую сторону; ему было весьма досадно на себя за такую оплошность: "Ну, диви бы ночью, а то среди белого дня, черт возьми, потерял дорогу!" Желая выместить свою досаду на ком-нибудь, приударил плетью лошадь и думал понестись во весь опор. Но лошадь от удара бросилась в сторону, фыркнула, навострила уши и остановилась. Он стал оглядываться по сторонам, желая узнать, от чего лошадь так шарахается, и увидал, что из близлежащего леса бежит волк или волчица и прямо на него, и уж довольно в близком расстоянии. Не имея ничего при себе и не быв храброго десятка, он поворотил лошадь направо, гикнул и пустился как стрела, беспрестанно оглядываясь, но заметил, что волк не отстает; проскакав версты две, уверился, что ему не уйти от него, и очень упал духом; как вдруг с противной стороны оврага, к которому он приближался, услышал людские голоса, которые кричали "улю-лю! улю-лю!", и лай собак, которые неслись прямо ему навстречу. Он ободрился, оглянулся и видит, что волк уже не преследует его, а, напротив, бежит от собак; почему и сам, поворотя лошадь, прикрикнул: "улю-лю! улю-лю!" и так притравил волка чужими собаками, что тот ретировался обратно в лес. После сего кучер остановился и тогда уже заметил, что собаки, которые его выручили, принадлежали пастухам и находились при их стаде. Подъезжая ближе, он узнал старика, который давал им советы и хлеб; а старик тоже в свою очередь признал кучера и тотчас спросил: "А що, нашли вы своего хлопця?" — "Нет!" — отвечал Андрей. "Ну, так вин кланяетця вам добрым здоровьем! вин у Рокитний. Вертайся швидче назад до его батька, я сам хотив уже до вас идты, да благо ты тут прылучився. Та гляды — возьми наливо от тою поляною; близько лиса не йизди: або там от та вовчиця, що бигла за тобою, бродить с вовчатами и багацько шкоды робить, покы не попалась моим собакам; от и теперь проклята далеко их забачила, та й повернула зараз… Ну, ну, паняй с богом! та скажи хлопцеви батьку, що дытына его у Рокитний у Семена Господи-ненка, который знайшов его близко хутора; а живе вин пидля новой церкви — тут-таки на самому базари, так соби высокенька хата и нови ворота, та тут ще й верба дуже велика, и мабудь одна тильки йе така на всю улицу. Та там як раз найдете! Ну, прощевай с богом соби!" Весело Андрей скакал обратно к моему отцу, около которого сидели дядя Дмитрий и дядя Абрам (так мы их всегда называли) и другие спутники — почти все вместе. Заметив, что кучер возвращался назад и скакал во всю мочь, они не знали, чему приписать такую поспешность, а особливо отец, который дрожал, как в лихорадке, и не знал: бояться ли ему или радоваться? Но тот, не доезжая еще, закричал: "Радуйтесь, Семен Григорьевич! Миша жив! Миша нашелся! он в Ракитной…" — и слезы ручьем хлынули у отца при этой вести. Долго он не мог прийти в себя от радости и беспрестанно расспрашивал Андрея: кто нашел? как нашел? когда? где? и подобные тому вопросы, на которые не мог получить удовлетворительных ответов; когда же поуспокоился немного, вздохнул и сказал: "Ну, слава богу! слава богу!" — и потом прибавил, что отслужит молебен Николаю-чудотворцу, как только приедет в Ракитную и увидит меня, что, разумеется, он и исполнил в свое время.

Между тем лошади уже впряжены, и все уселись чинно на повозках, повторяя единодушно: "Ну, спасибо пастуху, что удержал нас на этом месте; право, спасибо! Что ни говори, а приметы, над которыми иногда смеются богоотступники, всегда справедливы!" Так думал каждый про себя, весьма довольный своими заключениями, кроме отца, который рассуждал совсем о другом: он думал, как приличнее наказать меня за такую, по его словам, вину, и мысленно было положено: как только приедет в Ракитную, то тут же меня хорошенько посечь. Но вышло совсем иначе; ибо когда прибыли на место и отыскали дом, о котором так ясно было рассказано, то, кроме работника, никого не нашли дома, и на вопрос: "Где хозяин и хозяйка?"- им ответили: "Та понесли на ярмарку хлопця, що пан отец найшов позавчора; бо дытына все тоскуе! Уже ему и меду, и бублыкив, и медовникив, и таки всего давали; так ни, усе-таки просытця до батька та до матери. Та, мабудь, уже скоро вернутця, бо вже давненько пойшлы. Старый и стара з рук его не спу-скають; бачь — у их дитей з роду не було, так воны так соби рады, що господь им послав хоть чужого, що вже так и положилы: колы его батько и матирь не найдутця, то взять вмисто сына и всю худобу ему свою зоставить". Все это рассказывал работник на дворе, где отец мой сел на завалине прямо против ворот, из-за которых надеялся увидеть меня. И в самом деле — еще работник не кончил своих подробностей, как я уже шел из-за ворот между мужчиной и женщиной довольно пожилыми. Как только я увидел отца, то с чувством какой-то вины и радости вместе подошел к нему, протянул ручонки и залился горькими слезами, сам не зная, верно, отчего: от радости или опасения быть высечену? Он же не мог встать и остался в том же положении и, как кажется, в силу своего решения, хотел встретить меня строго; но слезы невольно, без его ведома, пробились и хлынули рекой из его глаз. Все вокруг, глядя на меня и на отца, который держал меня уже на коленях и нежно целовал, все молча плакали, и только по временам слышно было всхлипывание то того, то другого. Итак, вместо предположенной моим отцом экзекуции, кончилось все концертом слез. Хозяин с хозяйкой, у которых я отыскался, разыгрывали соло, а особливо она; ибо уже так верно разочли и распорядились и в короткое время так себя уверили, что я их сын, что никак не думали меня отпустить. Несмотря на то, что должны были теперь расстаться со мною и расстались, осыпая меня горячими поцелуями, проливая ручьи слез и повторяя прощанье много раз. Таким образом кончилось бегство или потеря, право, не знаю, как назвать.

Теперь следуют маленькие подробности, каким образом я от места отдыха, почти на пятнадцать верст, очутился в Ракитной. Из того, что можно было собрать из ответов на делаемые мне вопросы (ответы казались им удовлетворительными), из рассказов крестьянина, который меня нашел, и из показаний другого свидетеля, бывшего в то время вместе с ним на хуторе, вышло следующее. Когда все уснули, я спустился с телеги, взял кнутик и пошел хлестать им около лошадей; потом, соскучась, стал рвать цветы и ловить кузнечиков; так шаг за шагом, далее и далее, наконец зашел так далеко, что когда хотел воротиться к телегам, то уже не видал ни их, ни лошадей. Вероятно, желая отыскать телеги, я избрал какой-нибудь путь, думая что он приведет меня к месту, мною оставленному, а всего вероятнее, что я ничего и не думал; только, по словам моим, осталось известно, что таким образом я прибрел в лес, в котором увидал большую серую собаку с щенятами, что я очень испугался и заплакал, и что тут же явился какой-то мальчик, который был еще меньше меня и такой хорошенький и уговаривал меня не бояться, так как собака эта не кусается. В доказательство он подошел к ней и погладил ее по голове, причем собака очень к нему ласкалась; заставил и меня ее погладить, что я и сделал. Потом повел меня через лес, и когда я начал просить пить, то он отвечал, что как только выйдем из лесу — сейчас найдем воду. Выйдя из лесу, я оборотился к мальчику спросить: где же вода? но его уже не было. Долго звал я.его к себе и, не получая ответа, стал плакать и вместе с тем сходить с довольно крутой горки, внизу которой заметил воду; и как мне, вероятно, очень хотелось пить, то я спустился вниз и прилег наземь, желая с обрывистого берега утолить свою жажду. Но вдруг услышал голос: "Хлопче, гляды — утонешь! тут така глыбыня!" На что я, лежа, со слезами отвечал: "Да мне пить хочется!" Между тем подошли ко мне два человека: один из них был постарше, хотя и оба уже не молодые люди; старший из них поднял меня с земли и, сняв с себя шляпу и сложив поля ее на три угла, прилег к пруду, подчерпнул ею воды и дал мне пить. Потом, поговоря между собою, спросили меня: чья я дитына? и кто отец мой? и куда ехал? — на что я отвечал им такою путаницею, что из всего мною сказанного они могли только понять, что отец мой Семен Григорьевич, мать моя Марья Тимофеевна, что у меня есть хороший барин Гаврила Семенович и барыня Елизавета Ивановна, что барин меня кормит конфетами, а барыня поит чаем; что у меня есть дядя Дмитрий и дядя Абам (ибо я тогда буквы "р" еще не выговаривал), что мы ехали куда-то далеко, что в поле обедали, что все пили водку и все легли спать и что я потом пошел. Изо всего этого они ничего не могли определить верного и не знали, что им делать. Один из них, который помоложе, советовал отвести меня на близлежащую дорогу и пустить, что, вероятно, кто-нибудь меня встретит и что таким образом они избавят себя от хлопот, а может быть, и от беды; ибо бог знает что тут такое: так ли затерялась хлопя? "Або, може, батько и матирь его поризаны, то таку напасть соби возьмишь, що с судом не развяжешься по вики!" Но, невзирая ни на что, старик никак не решился последовать его совету, говоря: как можно таку малу дитыну зоставить одну? що колы с нею що прилучится, то их и бог накаже, и вже що буде, то буде, а он берет меня к себе. Итак, привел меня на хутор, покормил сотовым медом и уложил спать, а на другой день привез в Ракитную и представил в контору, где объявил, что нашел меня близ своего хутора. Управляющий хотел меня оставить у себя, на что я никак не соглашался, говоря, что кто меня нашел, у того я и жить буду. Управляющий, не желая меня приводить в слезы, отпустил с стариком, приказав конторе послать в суд объявление. Итак, старик привел меня к себе в дом, и вместе с женой положили, что, ежели, бог даст, не отыщутся мои родители, взять меня вместо сына. Вот все, что узнал мой отец. Выслушав рассказ хозяина и мой, он тут же подумал, что велика милость господня, что, очевидно, дитя, провожавшее меня через лес, мимо волчицы с волчатами, был не кто другой, как ангел-хранитель, и мысленно принес благодарственную молитву господу богу.

И вот чем кончилась эта маленькая драма. Разумеется, я ничего этого не помню; но это как анекдот моего детства осталось известным в моем семействе, часто повторялось и всегда одинаким образом не только отцом и матерью, но даже и товарищами его, без малейшей перемены. Со всем тем не выдаю всего за совершенную истину, а оставляю всякому полную свободу верить и не верить. Мое дело было только рассказать верно.

После этого вскорости граф убедил графиню расстаться с матушкою и отпустить ее к мужу (которому уже назначено было жить в хуторе Проходах как в центре управляемого им имения), представляя в причину, что разлучать мужа с женою в таких молодых летах — грех, да и за Мишей будет кому присмотреть. Все это вместе решило графиню согласиться. Итак, вдруг я переселился из Обоянского уезда в Судженский, где и жили мои родители лет около тридцати, то есть до продажи нас князю Репнину. Стало быть, тут промелькнуло мое детство, весьма неинтересное, как и детство всякого ребенка, а особливо в том звании. Известно только, что я был самый острый и умный ребенок, что был два раза ушиблен самым ужасным образом, из коих один раз об дровосеку, а в другой раз так странно, что стоит рассказать. Меня просто перебросило через ворота, то есть через верхнюю их перекладину; а как? Вот в том-то и дело. Просто с дрожек в первый день светлого Христова воскресения. Как это случилось и отчего? — известно, но полета, который я сделал через ворота, не могла мать объяснить, ибо она одна и была свидетельницею, но от испуга подробно ничего не помнит. Вот как это было: в светлый, праздник отец и мать ехали в Турью, где мы были приходом, к обедне и, разумеется, взяли меня с собою. Как вышли садиться на дрожки, которые были по-тогдашнему без крыльев, довольно длинные, мать села, посадила меня подле себя; отец же сказал: "Вы съезжайте с горы, а я сойду пешком" (дом, где мы жили, был на горе). Тут кучер, державший лошадь за повода, спросил отца: "разве и ему ехать?", потому что очень часто случалось, что отец правил сам, а, приехав в Турью, лошадь обыкновенно оставлял у попа на дворе. Теперь же в такой праздник, при тесноте, отцу показалось это неудобным, почему на вопрос кучера он и сказал утвердительно, чтоб он ехал, а сам вышел в растворенные ворота. Кучер, обратясь к моей матери, которая уже сидела со мною на дрожках, сказал: "Позвольте ж мне, Марья Тимофеевна, надеть новый зипун!" — и, не дождавшись ответа, отправился за ним. Лошадь, чувствуя свободу, стала поворачиваться из стороны в сторону; мать только что хотела взять вожжи, замотанные напереди около шкворня, который был выше дрожек вершка на два c половиной, как в это самое мгновение лошадь шарахнулась и бросилась со всех ног в ворота. От быстрого движения мать свалилась с дрожек, не успев схватить меня, и видела только, что дрожки зацепились за верею передней осью и что от толчка я свалился на заднее колесо, с которого быстро полетел через ворота; но как это случилось? — она не могла объяснить, потому что тут же сама упала без памяти. Отец, услышав стук позади себя, оборотился и увидел меня, летящего через ворота; в ту же минуту пронеслась и разъяренная лошадь с дрожками, которые, разумеется, вдребезги избила. Отец бросился назад, подбежал ко мне и поднял меня без всякого движения; даже очень долго не было слышно: дышу ли я? Все это сделалось так быстро, что никто и не видал! На крик отца прибежали кучер, кухарка, бабушка; отец потребовал воды и, когда принесли, вспрыснул меня ею. Между тем очнулась и мать и вырвала меня у отца; он же велел подать нож, которым мне разнял стиснутые зубы, и влил несколько капель воды, проглотив которую я в ту же минуту вздохнул очень протяжно; при этом кожа на лбу, от ушиба поднявшаяся почти на вершок, видимо, начала понижаться и пришла в обыкновенное положение, удерживая на себе только синий, почти черный цвет — признак сильного ушиба. Разумеется, что к обедне уже никто не поехал. Долго сомневались в моей жизни; купали меня два раза в день в какой-то траве (кажется, называли ее завяз) и недели через три начали надеяться на мое выздоровление, а через шесть я уже совершенно оправился; но чудесный сальто-морталь остался необъяснимым. Потом в детстве я тонул один раз, от чего тоже был спасен. Все эти чудесные спасения были ни к чему другому отнесены моею матерью, как к тому, что были встречные кумовья. Отец же просто видел тут благость божию и заключал, что он со своим семейством находится под особым господним промыслом.

В исходе пятого года моего возраста, чтоб я не баловался, отдали меня учиться грамоте к Никите Михайловичу. Фамилии настоящей его не знаю, а носил он другую, которую не могу сказать, ибо она смешивается с таким именем, что никак не прилично выразить. С этого времени, хотя еще и не довольно ясно, но начинаю кое-что помнить из моего детства. Помню, что я каждый день ходил в школу, что у меня были еще два товарища -дети Никиты-шинкаря, Гаврило и Никита, что у учителя была дочь Надёжка, что учился я весьма легко и быстро: ибо едва мне сравнялось шесть лет, как я уже всю премудрость выучил, то есть азбуку, часослов и псалтырь; этим обыкновенно тогда и оканчивалось все учение, из которого мы, разумеется, не понимали ни слова, а приобретали только способность бегло читать церковные книги. Помню, что при перемене книги, то есть когда я окончил азбуку и принес в школу в первый раз часослов, то тут же принес горшок молочной каши, обернутый в бумажный платок, и полтину денег, которая как дань, следуемая за ученье, вместе с платком вручалась учителю. Кашу же обыкновенно ставили на стол и после повторения задов (в такой торжественный день учения уже не было) раздавали всем учащимся ложки, которыми и хватали кашу из горшка. Я, принесший кашу и совершивший подвиг, то есть выучивший всю азбуку, должен был бить учеников по рукам, что я исполнял усердно при всеобщем шуме и смехе учителя и его семейства. Потом, когда кончили кашу, вынесли горшок на чистый двор, поставили его посредине, и каждый бросал в него палкой; тот, кому удавалось разбить его, бросался стремглав уходить (бежать), а прочие, изловив его, поочередно драли за уши. Что это за церемония? Для чего она делалась? Когда было ее начало? Ничего не знаю и не могу сказать. Помню только, что по окончании часослова, когда я принес новый псалтырь, опять повторилась та же процессия и что кроме меня раз еще принес кашу Никишка, когда кончил часослов, над которым я и застал его; оба брата, Никита и Гаврило, учились очень тупо. Помню, что их драли немилосердно, хоть толку от этого не было никакого; я же, напротив, удивлял своею остротою, так что учитель не успевал задавать мне уроки.

Когда я окончил псалтырь, то отец мой, зная, что учитель мой не способен более учить ничему, писал в Белгород к знакомому, очень ученому священнику (который когда-то, бывши еще студентом, учил сына графа В[олькенштейна]), и спрашивал, что он возьмет за мое ученье. Между тем во время долгой переписки я должен был всякий день ходить в школу протверживать зады. Помню, что это мне ужасно надоедало; я наконец стал протверживать с такою быстротою, что только и слышно было: "Блажен муж", — а дальше уж никто не мог разобрать ни слова. Таким образом, чрез четверть часа я.оканчивал все, что было задано читать, и отправлялся гулять в лес с ребятишками, оставляя учителя весьма довольным своим учеником. Учитель часто ставил меня в пример другим ученикам, говоря: "От, як бы и вы так учились, як Мышка, то и вы пийшли б теперь гулять". Обыкновенно в лесу я прогуливал до обеда, ибо твердо знал, что если бы из школы пришел домой, то меня не пустили бы бегать по лесу. Наконец как-то отцу моему стало известно о кратком способе моего повторения, и потому он строго запретил мне выходить из школы, пока не кончится общее учение; но я на другой же день, кажется, забыл его приказание. Отец же мой, которому из своего дома видна была школа, нарочно наблюдал за мною и, как скоро увидел, что я навострил лыжи в рощу, отправился и сам туда, наломав дорогой добрый пучок розог, и, найдя меня, препорядочно выпорол.

По окончании экзекуции, во время которой я кричал во все горло, притащил он меня в школу, разбранил учителя, что он не смотрит за мною, что ребенок совсем избаловался, что читать стал гораздо хуже и вместо того, чтобы читать, бормочет так, что ничего нельзя понять, и в доказательство тут же заставил меня читать. Я, получив уже привычку, полетел, как говорится, на почтовых, а потому только и могли разобрать, как я уже сказал: "Блажен муж", а далее уж ни слова. Отец, остановив меня, велел начать сначала, но вышла та же история; потом — в третий раз — все то же. Батюшка рассердился, плюнул, топнул ногою и ушел, наказав строго учителю исправить ребенка. Гнев отца произвел свое действие, ибо учитель имел школу приватно, главное же занятие его было при винокуренном заводе, где он состоял ключником у хлебного магазина; поэтому, боясь потерять это место, что совершенно зависело от воли отца моего, он обратил все внимание на исполнение его желания, и чтобы поправить зло, то под обещанием строгого наказания велел мне, читая, останавливаться по точкам. Но как я забывался, а более потому, что половину болтал на память, то и получал часто должные награды, как-то: скубки, удары по руке линейкою; это помогало, впрочем, весьма мало. Однажды учитель отпустил мне две очень ловкие пали (при коих я взвизгивал, разумеется) и примолвил: "Адже я тоби уже казав, собачий сыну, щоб ты читав по точкам!" Это значило у него останавливаться на них. Эта малороссийская фраза уже вековая: из давних времен говорилась она так, как сказана выше, почему и ко мне дошла из уст учителя без всякой перемены. Учитель же мой был малороссиянин, да и весь уезд населен был более малороссиянами, нежели русскими. В ответ учителю, против всякого его ожидания, я, проливая горькие слезы и мотая от боли рукою, спросил у него: "Да для чего же останавливаться по точкам?" При сем вопросе учитель мой остолбенел: в первый раз услышал он такой вопрос, в течение целых сорока лет обучая юношество грамоте, — и до того смешался и рассердился на такой дерзкий и вольнодумный вопрос, что долго не отвечал на него. Но, рассудив потом, что такие слова не могли излиться из уст такого малого и притом умного ребенка и что, конечно, нечистый дух внушил мне их, он сотворил крестное знамение и сказал мне: "Тютю, дурный! Чи ты не знаешь, що ты сказав?" Я, ничего не понимая, повторил сквозь слезы: "Я говорю, для чего останавливаться по точкам?" Тут он, видя мое неведение и уверясь, что такой вопрос сделан мною без всякого злого намерения, смягчил голос и сказал: "Дурный, дурный! хиба ж ты не знаешь, что книги так уж и писаны, щобы, читая их, останавливались по точкам, и що вси праведные их так читали?" Ничего не понимая, я опять спросил: "Да для чего же это нужно?" Не умея дать лучшего пояснения, он начал мне толковать: "Адже тоби не можно прочитать всего псальма одним духом, то треба и отдыхнуть; от для того святые и праведные, которые сие писали, нароком и поставили точки. А ты б то, дурный, думав, що воны поставили их дарма?" И он очень был доволен, что растолковал мне так ясно, что более, казалось, нечего было и говорить. Но к крайнему его изумлению я и тут нашел кой-что для себя непонятным и, ворча, все еще сквозь слезы сказал: "Помилуйте, да это быть не может! Вот посмотрите, как точки расставлены: вот тут (указывая на книгу) от точки до точки — три слова, а тут — целых десять строк, а их нельзя проговорить одним духом; так это быть не может, чтоб они были поставлены для отдыха". Учитель, видя, что злой дух совершенно овладел мною (ибо не может быть, чтоб без его наущения такой умный ребенок не понял того, что, по его мнению, он растолковал так ясно), а потому, не желая входить в состязание с сатаною, как он говорил, отпустил он мне в голову порядочную тукманку, говоря: "Колы ты тым точкам не веришь, так от тоби точка! от сей, мабуть, поверишь; и колы ще будешь пытати, то я тоби, для пояснения, таку задам жарёху, що з неделю будешь заглядывать!" После такого сильного доказательства я уже навсегда отказался от подобных вопросов.

В скором времени, по настоянию матери, которой слишком жаль было, что бедного ребенка учитель, сам ничего не зная, так жестоко наказывает, отвезли меня в Кондратовку, в имение, принадлежащее графу и потому находившееся также под распоряжением отца моего, к тамошнему священнику отцу Димитрию, чтобы я повторял выученное мною до того времени, пока повезут меня в Белгород. Не оскорбляя памяти покойника, я должен сказать, что новый наставник мой отец Димитрий был тоже недальнего образования и только в тогдашнее время мог быть священником: что не каждый день повторялось в служении, то он разбирал весьма плохо. Так, например, когда мне было уже лет пятнадцать, то граф однажды в троицын день, зная, что священник плохо читает, послал меня к нему от своего имени попросить, чтобы молитвы, которые читаются при коленопреклонении, прочитал он сперва дома, дабы можно было внятнее их слышать. Но он сделал лучше: он прочитал во время служения только две молитвы, а третьей совсем не читал. А когда, после обедни, пришел к графу с просвирою поздравить с праздником, что делалось в каждый двунадесятый праздник и в день именин графских, то граф спросил: почему он прочел только две молитвы? Священник почтительно отвечал: "Ваше сиятельство присылали, чтобы я прочитал молитвы у себя на дому; почему одну и прочел дома. Извините, что больше не успел прочитать; а остальные две прочел в церкви, во время служения". Граф, слушая это, улыбнулся и не сказал ни слова.

Другой пример служит еще лучшим доказательством сколько невежества, столько и грубости тогдашнего времени. Однажды летом, в какую-то субботу, во время уборки хлеба, дьячок и пономарь, занявшись полевой работой (ибо весь причет церковный получал на содержание 33 десятины земли), упросили нашего же дворового человека отправить вместо них с священником всенощную, и как человек этот, по прозванию Козел, был горький пьяница, который только и знал, что пил и пел на крылосе, то они вытрезвили его, с обещанием после всенощной напоить снова. Зная хорошо весь церковный устав и не имея в виду другой попойки, он охотно согласился. А как священник нередко видал его исправляющим должность дьячка, то без всякого возражения начал с ним служение. Молящихся в церкви по случаю полевых работ было только три старухи, мальчик, отправляющий должность ктитора, и я. Михаила Козел был самой нелепой наружности и от беспрестанного пьянства с распухшею рожею; голос его и без того самый грубый и неприятный бас, а тут на похмелье сделался еще отвратительнее. После первого благословения, сказавши "аминь", начал он чтение каким-то скрипучим голосом. Таким образом, все шло своим порядком до чтения кафизм; ибо, как я уже сказал, Козел был очень тверд в порядке служения. По прочтении одной кафизмы священник в алтаре или читал какие-либо молитвы, или мысли его заняты были чем-либо житейским, только он не слыхал, что чтение кафизмы уже кончено. Козел же, помолчав немного и не слыша следующего после кафизмы паки и паки, произносимого обыкновенно священником, решился напомнить ему; почему вполголоса, хрипя, сказал: "Отец Дмитрий! паки и паки…" — на что священник, приостановивши свое чтение и не понимая хорошо, в чем дело, только помня, что его прервал голос Козла, быстро отвечал ему: "Ну, ну, читай!" Козел, будучи тверд в сем деле, весьма оскорбился и, в доказательство своего знания, повторил прежнее напоминовение голосом уже не столь почтительным, а гораздо грубее: "Паки и паки!" Священник же все еще порядком не очнувшийся или досадуя, что Козел стал учить его, опять повторил: "Читай, читай!.." Тут Козел, уже без всякого почтения к месту и сану, слишком настойчивым голосом напомнил: "Паки и паки!.." Раздосадованный таким упрямством Козла, священник закричал очень сердито: "Кажу тоби: читай!" Козел наш обезумел, вытаращил глаза, в бешенстве сжал правый кулак, заскрипел ужасно зубами и вышел вон из церкви, оставя бедного священника одного, совсем растерявшегося от злости и от незнания, что делать: ибо он даже не помнил, до которого места дошло служение. Тогда по необходимости я вошел к нему в алтарь, объяснил ему, в чем дело, и предложил себя для услуг вместо Козла, ибо, живя (как сказано будет после) в Белгороде почти четыре года у священника, я тоже хорошо знал порядок служения; и таким образом кое-как всенощная была окончена.

Когда рассказал я все это графу, он ужаснулся; но потом, подумав немного, промолвил: "Я бы давно просил архиерея переменить нашего священника, но он человек семейный, у него куча детей, они могут остаться все без хлеба; а этого греха я не возьму себе на душу!" И в то же время брал на себя грех другой — ужаснее.

И вот кому вверено было мое детство, так быстро развертывавшееся; но, к счастию моему, я прожил у него только около трех месяцев. Из всего этого времени я только и помню, что на другой день моего поступления он нещадно выпорол меня розгами, кажется, за то, что я, от излишнего познания церковного чтения, разорвал первый лист псалтыря: ибо, начиная протверживать зады с "Блажен муж" при детях священника, перед которыми хотелось мне блеснуть своими сведениями, и для того оканчивая страницу, так быстро и ловко перевернул лист, что разнес его почти пополам, за что и получил вышеобъясненную награду. Такой дебют меня очень испугал, и я думал, что попал из огня да в полымя; но, славу богу, все пришло в свой порядок, и я, повторив, что было мне задаваемо, имел полное право бегать, где пожелалось; а так как отец мой здесь не жил, то и некому было заметить, что слишком свободно пользуюсь всеми детскими правами. Когда же в воскресный день случалось отцу моему приезжать к нам к обедне и слышать меня, уже поющего на крылосе с дьячками (ибо я с самого детства имел необычайный слух: мне достаточно было слышать один раз какой-нибудь мотив, и я мог петь его безошибочно), то он оставался весьма довольным, хоть мне этого и не показывал.

У него был свой образ мыслей: он полагал, что только строгостию можно заставить детей любить и почитать родителей, то есть, по его мнению, бояться и любить — было одно и то же. А потому я, а равно и все дети, которые были потом, с четырехлетнего возраста видели от отца одну только строгость и никогда ласк; зато с избытком осыпала ими мать, отчего и вышло совсем противное тому, чего ожидали наши родители. Мы до некоторого возраста, то есть до того времени, когда начали уже понимать, отца боялись, но не любили; а мать любили, но не боялись, а потому и не слушались, что было для нее весьма неприятно. Иногда, желая внушить нам при любви и страх, она наказывала нас, но наказывала как мать, и потому это очень мало помогало.

При всем уважении к моим родителям я должен был высказать их образ мыслей, тем более что это было в то время общее мнение насчет воспитания детей, — не только в том состоянии, в каком находились мои родители, но и в высших сословиях. К чести же моего отца скажу, что он всегда был выше своего звания, чему служит доказательством и то, что он не удовлетворялся тогдашними общими понятиями своего круга об образовании детей, а желал научить меня чему-то больше, хотя и слышал беспрестанно вокруг себя от своих товарищей: "Черт знает чему управитель хочет учить своего сына, отдавая в Белгород: мальчик и так уже выучил азбуку, часослов и псалтырь, его бы теперь выучить писать — и конец, а там в суд переписывать дела, и вышел бы человек!" — ибо по их понятиям не было выше этого образования; об остальном, то есть учении языкам, им не приходило и в голову, что крепостному человеку можно их знать. Но отец мой, который не раз бывал с графом, во время его службы в гвардии, и в Москве и в Петербурге и уже видавший, как говорится, многое и слыхавший об университете и то, что у иных помещиков камердинеры, бывшие с господами за границей, говорят с ними по-французски, слушал их болтовню улыбаясь и пропускал мимо ушей без всякого внимания.

Три месяца моего детства в Кондратовке у попа Димитрия промелькнули очень скоро, так что изо всего времени в памяти моей ничего не осталось, кроме сказанного: как видно, интереснее ничего и не было.

Когда пришло время везти меня в Белгород, то недели за две до того взяли меня домой, чтобы обшить всем нужным на долгое время, дабы я не имел там ни в чем недостатка: туда уже невозможно будет ничего переслать по причине отдаленности; ибо до Белгорода была от нас с лишком сто верст. А между тем мать думала про себя: ребенок все-таки погуляет! — и на это время я даже не занимался и протверживанием задов, и отец смотрел на это сквозь пальцы. Иногда только для шутки, и то чтобы попугать бедную мать, он говорил: "А что, Маша, ты не посадишь Мишу протвердить что-нибудь?" Против чего Маша, испугавшись, представляла какую-нибудь невозможность: или что у меня сапоги не готовы, или что надо шаровары примерить, и тому подобное, и он оставался доволен изложенными причинами, и Я) бегал сломя голову,- одним словом, делал, что хотел. Мать много раз сама удивлялась, что отец так равнодушен к моим шалостям, а еще более, что казался убежденным изложенными ею причинами, обдумавши которые сама чувствовала их нелепость; но молчала и была довольна, что ребенок, с которым она скоро расстанется на долгое время, вполне навеселится и не будет забывать дому родительского. Она не могла разгадать, что и отец, разлучаясь с сыном не без сердечной горести, как он сам потом сознавался, и не зная, какая будет моя будущность, как-то невольно уступал чувству отца, а не голосу рассудка, и мысленно решил: пусть теперь ребенок нагуляется в доме отца, а на чужой стороне еще бог знает что будет: может быть, и недоест и недопьет. Он чувствовал, что слишком рано отдавал меня для продолжения учения; ибо мне не было еще семи лет,- и это была главная причина его снисхождения.

Так прошли две недели, ужасные для матери: во все время приготовления она не осушала глаз, разумеется, в отсутствие отца, ибо при нем не смела плакать. Она оплакала каждую рубашку, каждую вещь, которую укладывала — как теперь помню — в красненький сундучок; под крышкой его приклеена была картина суздальской работы с какими-то ужасными чудищами, которые меня очень занимали. Не постигая слез матери, я, очень помню, спрашивал у ней, чего она плачет? Разве в Белгороде меня всякий день будут сечь? — как видно, для меня ничего ужаснее не было. На что мать, обнявши и прижавши меня к своему сердцу, сквозь слезы говорила: "Ох, дитятко, может быть, и это будет!" При таком известии и у меня потекли слезы; но хорошее яблоко и добрый кусок домашнего пряника тотчас меня утешили.

Все было уже уложено, что казалось нужным для пребывания моего в Белгороде; все было приготовлено, что считалось необходимым для пути, как-то: пироги, жаркое и разные лакомства, чтоб не скучал дорогой (что отец хотя и считал лишним, но, однако, не мешал матери распоряжаться). Так наступил назначенный день для отъезда, в который приглашены были батюшкина сестра из Мирополья с мужем и его братом, то есть с теми, кого я звал дядя Дмитрий и дядя Абрам (так я называл их и после всю жизнь); бабушка,, то есть мать отца моего, незадолго переселившаяся к нам совсем на житье; в заключение приглашен приходский священник. И когда все были уже налицо, отслужили молебен, потом, как водится, выпили водки, пообедали сытно, затем для такого торжественного дня велели согреть чайник, напились чаю и чашки по две или по три пуншу. Между тем лошади были уже готовы, кибитка подана; но прежде отъезда все уселись по местам, потом встали, сотворили молитву, и началось прощание. Очень помню, что все плакали, что все говорили, чтоб я не скучал и не шалил, а учился бы хорошо, что родители посадили меня между собой в повозку и что у матери на руках была еще сестра моя Александра, ибо нас было уже двое детей. При всеобщем пожелании доброго пути и при благословении священника мы отправились на ночь в путь.

На другой день мы благополучно прибыли в село Красное, в место моего рождения и, так сказать, в резиденцию господ, о которых я не имел уже никакого воспоминания. Тут мне все было ново. Куча людей бродила без всякого дела; множество детей играло на обширном дворе, которые все были одеты совершенно не так, как деревенские мальчики, но, по тогдашнему моему понятию, удивительно как хорошо! На них были синие суконные курточки и такие же шаровары. Это возбудило во мне даже зависть, а особливо сообразив это приволье, в котором их застал, и полагая, что они все время только и делают, что играют, тогда как меня везут куда-то и чему-то учиться; да и костюм мой был совершенно другого покроя: на мне был китайчатый синий халат и такие же шаровары, над чем они долго смеялись, да и вообще смотрели на меня как на деревенского мальчика. Все это сделало меня совершенно несмелым и неловким, и я очень чувствовал свое невежество, хотя все дети по книжной части были гораздо ниже меня, потому что они сидели еще за азбукой, в то время как я уже окончил псалтырь. Обо всем этом я узнал на другой день, когда отец завел меня посмотреть певческую школу. Тут я узнал, что это были мальчики, набранные в певчие. Отец не пропустил случая так, мимоходом, сказать о моих успехах,- и дети смотрели на меня с удивлением, так как мне не было еще и семи лет, а каждый из них был старше меня по крайней мере двумя годами; -а потому по окончании учения стали обходиться со мною поласковее. Когда мы сели обедать в буфете и нам принесли есть с господского стола, что было знаком особой милости, отец между разговором сказал, что завтра мы едем в Белгород, а сегодня вечером будем смотреть оперу "Новое семейство", которую будут играть музыканты и певчие. Я было пустился в расспросы: что такое опера? Но вместо объяснений он просто сказал: "А вот сам увидишь!" — и потому я это принял равнодушно; я не знал, что в этот вечер решится вся будущая судьба моя.

Теперь я должен сколько-нибудь объяснить случившиеся перемены в доме господ: Во время моего житья в Проходах графиня умерла, и граф остался вдовцом, и с ним две дочери. Не слишком быв счастлив семейною жизнью, он, так сказать, отдыхал и наслаждался жизнью сельскою. И как он имел хороший оркестр музыкантов и порядочный хор певчих, то для разнообразия удовольствий основал домашний театр, чем забавлял детей, которым было от десяти до двенадцати лет; равно и все дворовые люди утешались этой забавою, а вместе с тем и сам граф вдвойне наслаждался своей выдумкой. Он так рассуждал, что этим доставит детям забаву, музыкантам занятие, а дворовым людям, которых, разумеется, было очень много, случай провести время полезнее, нежели за картами или в питейном доме. И, признаюсь, впоследствии оправдались его предположения: нигде в тогдашнем веке я не встречал, гораздо позже сего времени, господских людей, менее испорченных и грубых.

Не помню, как я провел этот день; думаю, что прорезвился с ребятишками. Вечером отец с матерью взяли меня в театр, как они называли. Но что такое театр? — объяснения на мой вопрос я не получил, а сказано просто: "Дожидайся, сам увидишь!" И вот мы явились в довольно большую комнату, которую, как я узнал после, почему-то называли залою; а равно и другие комнаты имели свои названия, как-то: гостиная, диванная, спальня, буфет, лакейская, девичья и пр. Все это меня очень удивляло, ибо я не думал, чтоб были другие названия, как светлица, комната и кухня. Сколько сведений приобрел я в продолжение двух суток, которые я прожил в резиденции господина моего! В зале нашел я несколько народу обоего пола: одни сидели на стульях, другие разговаривали, стоя у окна. Зала, как казалось, была разделена на две половины разноцветной холстиной во всю ширину комнаты, то есть начиная от потолка до полу; на холстине были разных цветов полоски: желтая, синяя, зеленая, красная, и все это, как после объяснили мне, домашнего крашенья. У, самого потолка, немного впереди упомянутой холстины, протянута была еще синяя холстина во всю ширину комнаты, и потом по бокам у самой стены с обеих сторон спущены были такие же холсты, отчего и вышло, как будто разноцветная холстина была в синей рамке. Что там за нею делалось? — оставалось для меня тайною. Между занавесом (так называли разноцветную холстину: мне это скоро объяснили) и первым рядом стульев — надобно заметить, что их было всего три ряда,- стоял довольно длинный стол — не стол, бог знает что такое, сделано из досок, на высоких, но совсем не таких, как у стола, ножках: у стола их обыкновенно четыре по углам под верхней доской, а тут как-то чудно! Так как этот странный стол был очень длинен и узок, то хотя под ним и были четыре ножки, но какие-то широкие, как будто ножка сделана из целой доски, и поставлены не по углам, а расставлены под верхней доской поперек стола, одна от другой расстоянием на аршин или с чем-то. Ножки эти были более похожи на козлы, которые употребляются на подмостки при строении; но и там у каждого козла тоже четыре ноги. Одним словом, я никак не мог понять, что это такое, тем более что вместо гладкой верхней доски сделано было что-то удивительно мудреное; то есть несколько узеньких дощечек во всю длину стола были как-то скреплены между собою и были гораздо выше верхней доски — с довольной косиной, так что если б его покрыть чем-нибудь, то все это походило бы на длинный церковный налой, на котором дьячок в церкви читает, только откосы были со всех сторон — и с длинной и с узкой. На некоторых местах этих откосов положены были тетрадки, очень странно излинованные и, что всего страннее, линованные чернилами, и когда я рассмотрел поближе, то увидел, что это не просто линейки, а что-то другое: тут сначала пять линеек — одна подле другой близко проведены так, как будто бы составляли одну пятилинейную линейку, потом отступя опять такие же пять линеек, и так до конца всего столбца в подобном же порядке; да и линовано совершенно не так, как обыкновенно делается, то есть не поперек, а вдоль страницы. Мне очень хотелось узнать: что это, для чего это? И к тому же я заметил: на пятилинейных линейках понаставлены чернилами какие-то точки, очень похожие на узелки, что, бывало, вышивают на воротниках у рубашек; к некоторым точкам приписаны хвостики, иногда с крючком, иногда же несколько хвостиков вместе перечеркнуто чернилами — в ином месте раз, а в другом и два и три; в некоторых местах и точка перечеркнута, если она поставлена выше или ниже пяти линеек, а иные точки, хотя тоже стоят выше или ниже их, а не перечеркнуты. Все это приводило меня в тупик. Между тем музыканты одни рассматривали эти тетрадки, другие настраивали скрипки; это уж я сам догадался, ибо я видал не однажды играющего на скрипке музыканта, который приезжал к нам иногда в Проходы из Говтаренки. Только я тут увидел такие скрипки, что и не знал, как на них будут играть; это были бас и контрабас. Потом бросились мне в глаза такие инструменты, о которых я и не слыхивал; а особливо валторны и фаготы поразили меня своими формами. Флейты и кларнеты не произвели на меня никакого впечатления: они мне казались такими же дудками, какие я уже видал у крестьян, а только сделаны из господского дерева, то есть из хорошего. Все это, то есть необычайно разгороженная комната, этот занавес в рамке, этот стол удивительный, тетрадки с точками, скрипки маленькие и большие, дудки разных манеров и ужасная валторна — так закружили мою семилетнюю голову, что я смотрел во все глаза и, кажется, ничего не видал. Вдруг сделалась маленькая суматоха, в которой только и слышно было: граф!., граф!.. Какое-то невольное чувство страха ощутил я в это время: из боковых дверей вышел среднего роста мужчина, довольно полный и красивый, лет за сорок; подле него вели двух девочек — одной было лет десять, а другая помоложе. Тут отец взял меня за руку и представил графу, который погладил меня по голове и в знак особой милости дал мне поцеловать свою руку, ибо он этого вообще не любил. Потом заставили меня поцеловать ручонки маленьким графиням и велели посадить меня между ними, а отец и мать стали позади нас и беспрестанно мне шептали: "Не бойся, Миша, не бойся!" Я воображаю, с какой миной сидел я между барышнями -точно медвежонок, потупя голову, и если бы не подоспел мне на помощь хороший кусок пряника, который дала мне одна из маленьких графинь, то, я думаю, что, невзирая ни на что, я заревел бы во все горло. Я никогда не слыхал от отца, что при господах можно сидеть, а тут сижу между барышнями очень сконфуженный; но пряник придал мне бодрости, и я исподлобья начал, как волчонок, выглядывать на обе стороны.

II.

Уездное училище в Судже и комедия "Вздорщица"

Лет пятьдесят назад в Судже, уездном городе Курской губернии, один из учеников принес в класс книгу под названием "Комедия Вздорщица". Это привело моих товарищей в большое недоумение; все наперерыв спрашивали один другого, что такое это — комедия? Я, видевши один раз игранную оперу, толковал им, что это не что иное, как представление, то есть что несколько человек, выучив каждый какое-нибудь лицо в комедии и потом соединясь вместе, могут сыграть так, как будто бы все написанное в комедии происходило на самом деле перед глазами зрителей.

Разумеется, этому никто не поверил, и, как следует, надо мной же стали подшучивать. Это так меня оскорбило, что я решился доказать им, что я не врал и что их насмешки можно отнести к их же невежеству. Господи! какой содом вышел из этой комедии! Все решительно восстали на меня: один называл меня хвастуном, другой — самохвалом, третий… Одним словом, не скупились на титулы. Так как в числе учеников, восставших на меня, были и такие, которые учились гораздо лучше меня, то я, не бывши точно уверен, можно ли и комедию играть так, как виденную оперу, мысленно начал робеть и сомневаться. Со всем тем я спорил донельзя. Сторона моя была слабейшая, и потому я подкреплял себя криком, который наконец и разбудил учителя, спавшего в соседней комнате (училище помещалось в его собственном доме). В самый развал общего крика отворилась дверь, и все окаменели, увидавши невыспавшееся лицо учителя, которое очень ясно выражало гнев. Каждый как будто читал в его глазах и почти был уверен, что первым его словом будет: "Подать розог!" Но я не допустил его выговорить это роковое слово и с видом оскорбленного самолюбия, даже со слезами, принес ему жалобу. "Помилуйте, Илья Иванович, рассудите нас; на меня напал весь класс и смеется надо мной за то, что я об этой книге "Комедия Вздорщица" (не знаю, почему она все еще была у меня в руках) сказал, что ее можно играть так, как будто бы все это не написано, а в самом деле случилось". Разумеется, все это было высказано с жаром, который совершенно угас, когда учитель, выслушав жалобу и доказательства моей правоты, громко захохотал. От стыда и досады я был ни жив, ни мертв, а взгляды товарищей еще более меня уничтожали. Когда же учитель, насмеявшись вволю и оборотившись к моим противникам, сказал им: "Дураки вы, дураки! Как же вы спорите о том, чего не знаете? Щепкин прав: это точно комедия, и ее можно сыграть так, что другие примут за действительность". И тут же он прибавил, что есть еще драмы, трагедии и оперы, которые точно так же можно играть, и что по этой части в Москве есть очень хорошие актеры, как-то: Ожогин, Шушерин и многие другие. Посмотрели бы вы тогда на меня, с какою гордостью стоял я, и как уничтожились мои бедные товарищи… Знаете ли, мне было даже стыдно за них: как спорить о том, чего не знаешь! А ведь и сам бил напропалую, защищая свое мнение. Эта комедия сделала большую перемену в предстоявших нам часах учения: в продолжение целого класса учитель беспрестанно возвращался к одной и той же мысли, и что бы ни толковал он, а кончал или комедией, или трагедией. В первый еще раз у него в классе не было скучно; не знаю отчего. Оттого ли, что в его преподавание ворвалась совершенно новая мысль и новостью своею сделалась интересна, или он сам впервые нарушил обыкновенный образ своего чтения и вместо мертвых слов познакомил нас с мыслию. Одним словом, мы не скучали в классе, нам было весело; мы как будто вдруг поумнели, и даже нам сделалось скучно, когда звонок пробил об окончании класса, по крайней мере так было со мною. Но представьте же себе нашу общую радость, когда учитель, сходя с кафедры, обратился к нам с следующею фразой: "Вот, дураки! вместо того, чтобы бегать по улицам да биться на кулачки или другими подобными занятиями убивать время, не лучше ли было бы, если бы вы разучили эту комедию да перед роспуском на масленице сыграли бы ее у меня; а времени, кажется, не мало: по середам и субботам после обеда классов не бывает, за неимением рисовального учителя, так вот сошлись бы да и сладили бы хорошенько. Только с уговором — не шуметь!"

Нельзя было описать нашего восторга, и мы все в один голос закричали: "Если вы это позволите, то мы сейчас же эту комедию разучим". Точно будто все могли играть в ней! В комедии было всего восемь лиц, а нас в классе было обоего пола до шестидесяти человек. Однако ж, как бы то ни было, каждый, выходя из класса, выносил с собою мысль, что он играет в комедии, и, подпрыгивая дорогою, объявлял об этом встречным ребятишкам; никому в голову не приходило, что всем играть невозможно; так поразила нас эта радость, и мы все шли дружно и весело. Даже те, которые спорили, что комедия не то, что я говорил, даже те как-то добродушно сознались, что они несправедливо спорили со мной, что они точно не знали, что такое комедия, а только хотели подразнить меня за то, что я будто бы хотел показать себя умнее других. Словом, мысль, что мы играем в комедии, овладела всеми, сделала нас как-то добрее, и, верите ли, мне отчего-то было совестно, что они извинялись передо мной. Вот какие чудеса наделала "Комедия Вздорщица"! Из самых вздорных, буйных ребятишек сделала, хотя на несколько минут, кротких, милых и добрых. Каждый из нас, возвратясь кто в дом родителей, кто на квартиру к своему хозяину, с радостью сообщал новость, что он играет в комедии: один — отцу и матери, другой — хозяину с хозяйкой и даже кухарке. Одним словом, у каждого знал весь дом, что он играет в комедии, но что и как? — этот вопрос никому еще не приходил в голову.

Когда прошли первые мгновения восторга, мне пришло в голову, что очень легко может статься, что я не буду играть. Эта мысль очень прохладила меня, и я порядком приуныл. Думаю себе: "Как же это? Всем играть невозможно; как же это будет? Кто же укажет, кому именно играть? Вероятно, будут назначаться старшие ученики, и очень легко может статься, мне не дадут никакой роли. Много есть детей дворян, чиновников, купцов, мещан, которые все далеко выше моего звания, и эти дети, вероятно, будут предпочтены". И, рассуждая с сестрой, я горько жаловался и говорил, что это будет совершенная несправедливость. Все в короткое время изменилось; вместо радости тоска и чувство унижения чрезвычайно тяготили меня, хотя какой-то луч тайной надежды мелькал в голове моей, что, может быть, я и буду играть. В самом деле, я был один из лучших учеников, кроме двух, да и их преимущество состояло, кажется, в том, что они уже третий год сидели в последнем классе, а я только всего полгода. В знании же они недалеко уходили от меня, потому что мы все ровно ничего не знали.

Итак, я жил надеждою и уже воображал, как хорошо буду играть. Тут я начал припоминать оперу "Новое семейство", которую, как уже сказал, видел в детстве, и припомнил ее всю; она так живо возобновилась в моей памяти со всеми подробностями, которые меня тогда занимали, все лица этой оперы так живо предстали предо мною, что я чуть не плакал от удовольствия. А в чем состояло это удовольствие, что это было такое, я сам не мог дать себе в этом отчета; только мне было так хорошо, хотя изредка и щемила мое сердце мысль: а ну как я не буду играть в комедии!

На другой день все объяснилось, и для меня весьма выгодно. Отправясь в обыкновенное время утром в училище, мы увидели с сестрой на первом перекрестке двух учеников, которые преисправно таскали друг друга за волосы, приговаривая: "Врешь, ты не будешь играть, а я буду!.." — "Нет, ты не будешь, а я буду! третьего дня учитель был у нас в гостях, и батюшке стоит только слово сказать, я и буду играть…" — "А все-таки не будешь: моя матушка отнесла ему вчера гостинца полпуда меду; она только слово пикнет, и я буду непременно играть!" Когда же мы пришли в школу, там был просто содом: только и слышно было: "Я буду, ты не будешь!" — "Нет, ты не будешь, а я буду!" И эти уверения подкреплялись иногда такими фразами, которые не совсем приличны были ни месту, ни возрасту.

Приход учителя все прекратил, и на строгий и суровый его вопрос, почему мы не на своих местах, большая часть примолкла; некоторые, в том числе и я, отвечали, что мы толковали о том, кому играть в комедии, что все желают, но что лиц в комедии только восемь, и в том числе три женских. Учитель подумал, потер себе рукою лоб и сказал: "Подайте сюда книгу, я сам назначу, кому играть!" — и, отметивши своей рукой в книге, прибавил: "Я назначил тех, кто лучше учится; это им в награду, а лентяям это будет наказанием". Когда прочли назначение учителя и я услышал, что слугу Розмарина буду играть я,- я обеспамятел от радости, кажется, даже заплакал. Женские роли назначены были учащимся девицам, но почтенные родители, сановники и супруги, восстали против этого: "Как, дескать, можно, чтобы наша дочь была комедиянткой!"- и учителю пришлось было плохо. Наконец кое-как все уладили. Старуху и служанку играли мальчики, а любовницу сестра моя: ее можно было заставить играть. Дело пошло на лад. В первую середу сошлись толковать, как выписать каждому свое лицо и как сделать, чтобы он знал, когда ему говорить. Много было толков, наконец, и это уладили и даже выписали почти так же, как теперь пишут роли, только с маленьким излишеством в репликах. Эта выдумка была собственно моя, и ее одобрили. Через неделю каждый выучил свою роль. Когда мы в субботу сошлись и начали пробовать, то как-то не ладилось, и мы решились, когда проснется учитель, просить его показать нам, как это сделать, чтоб каждый знал, когда ему говорить. И учитель объяснил нам, что нужно-де, чтобы кто-нибудь подсказывал по книге, и все пошло как по-писаному. С каждою репетициею все шло тверже и тверже: я свою роль читал с такою быстротою, что все приходили в удивление, а учитель приговаривал, улыбаясь: "Ты, Щепкин, уж слишком шибко говоришь, а впрочем, хорошо, хорошо".

Наконец настал давно желанный день. Из классов вынесли скамейки и комнату разделили пополам: одну половину уставили стульями, а другая служила сценой; за нею повесили полог с кровати, вроде задней занавесы, из-за которой мы и выходили. Учитель пригласил все городские власти: городничего, судью, исправника и прочих, кроме того, семейства всех участвовавших в комедии. Надо сказать, что для некоторых это было совершенно неожиданно, особенно для властей, и, сколько помню, когда учитель сделал приглашение городничему, то он немного изумился и даже сделал вопрос, не будет ли- в этом представлении чего-нибудь неприличного? Но когда учитель уверил, что, за исключением барыни, которая бьет свою девку башмаком, нет ничего такого, "Ну, в этом нет еще ничего предосудительного!" — сказал городничий.

В пять часов вечера собрались зрители. Актеры оделись кто как мог поопрятней, поумылись, причесались; играющие женские роли, разумеется, были одеты, смотря по содержанию роли: сестра была в белом платье, с ленточкой на голове, в башмаках на высоких колодочках. На мне был длинный сюртук и розовый платок на шее.

Посетители уселись, и началось представление. Вначале я как будто струсил, но потом был в таком жару, что себя не помнил, и чувствовал какое-то самодовольствие, видя, что быстрее меня никто не говорит. Посетители были очень довольны, хлопали напропалую, а городничий изредка одобрял словесно: "хорошо, лихо!" и тому подобными восклицаниями. По окончании пьесы нас всех подозвали и начали расхваливать, а родители игравших осыпали детей поцелуями и потом стали изъявлять благодарность учителю за то, что поместил их детей в число играющих. Городничий и исправник были в полном удовольствии и говорили, что они никак не ожидали, чтобы все было так хорошо.

Так кончился день, для меня весьма памятный; но мне предстоял еще другой, гораздо торжественнее этого. Возвратясь на квартиру, в пьяной радости мы пересказали всем живущим в доме, как нас хвалили, и к большей еще радости узнали, что отец прислал за нами лошадей, потому что на масленицу распускали учеников. Ночь проспал я, разумеется, славно; во сне все грезился мне спектакль, что будто я играю, что совсем не знаю роли, что я одет бог знает как — неприлично, и тому подобное. На другой день пошел я к учителю проситься в отпуск. Дорогой забежал к двум-трем товарищам рассказать им мимоходом, как меня все хвалили. Когда я пришел к учителю и объявил ему мою просьбу, он отвечал, что отпустить меня не может с сестрой раньше четверга, потому что городничий просит, чтобы комедию сыграли у него в доме в середу: в этот день он, по случаю бракосочетания дочери своей, вышедшей за откупщика Д., дает молодым обед; гостей будет много, и он хочет этим, что называется, потешить весь город. Я был вне себя от радости; но вместе с тем показывал, что это ставит нас в затруднительное положение, что за нами присланы лошади, что держать их до четверга нет никакой возможности, потому что нечем кормить. Учитель подумал и, к удовольствию моему, уничтожил это затруднение. "Ты,- сказал он,- отпусти лошадей и напиши к отцу, по какому случаю вы оставлены, а я скажу городничему, он возьмет у исправника предписание, и вы поедете на обывательских. А между тем соберитесь завтра да прорепетируйте комедию, чтобы еще потверже было; а то вот К. чуть было не остановился во время представления; хорошо, что он играл дурака, так это ничего, а то бы просто срам да и только".

Получив от учителя разрешение на такой затруднительный вопрос по случаю поездки и выслушав наставление касательно репетиции, я вышел от него с ужасною гордостью: я видел, что я необходим, что без меня спектакль не пойдет, и городничий и город будут лишены удовольствия, и что все это зависит от меня,, как будто бы я один играл всю пьесу. Разумеется, первым делом моим было обегать всех, кто участвовал в пьесе, и повестить их, чтобы завтра они собрались к учителю на репетицию, что мы играем комедию в середу в доме городничего, по его усиленной просьбе, что за мною с сестрой прислали было лошадей, но что учитель упросил меня остаться до середы и лошадей отпустить, потому что мне дадут предписание и что я поеду на переменных, и прочее. Кроме того, я забегал к некоторым товарищам, не участвовавшим в представлении, и им, как следует, мимоходом было рассказано то же самое, только с разными вариациями.

По приказанию учителя лошади были отпущены, и я написал к отцу о причине, по которой мы остались до четверга. В четверг к обеду, писал я, мы будем непременно, потому что поедем по предписанию на переменных, а теперь никак не можем ехать — без нас спектакль не может быть сыгран.

Два дня делались репетиции, на которых присутствовал сам учитель и беспрестанно повторял: "Хорошенько, дети, хорошенько! Чтоб не осрамиться!" Он велел в середу собраться в доме уездного секретаря, сын которого играл в комедии, поопрятнее и поприличнее всем одеться, а часа в четыре отправиться в дом городничего, который был недалеко от дома секретаря.

Праздник, который давал городничий для своих молодых, привел в волнение весь город. Народ на рынке, и в особенности торговки, толковали, что праздник будет знатный, что, как слышали они, даже плошки заказаны, что музыку привезли от подгородного помещика, что цыганы будут плясать и даже будет какая-то комедия. И пошли толки по всему рынку. Что за комедия? Кто будет играть? Одни толковали, что приезжие штукари будут глаза отводить, то есть вот, например, покажется вдруг, что вы по колени в воде, и вы из предосторожности подымете платье, чтоб не замочить его, ан глядь — и нет ничего, и разные другие будут мороченья. Другие говорили, что все это вздор, что они точно слышали от учителевой кухарки, что учитель целый год учил де-тел играть комедию и что она уже играна в прошлое воскресенье. И много других было предположений. С рынка новость эта перенесена была в дома, которые еще не знали об ней, так что в середу весь город был на ногах. Бегали, суетились, сообщали друг другу свои догадки — словом, болтовне не было конца. Уже с полудня начали стекаться к дому городничего толпы народа, а к четырем часам к нему не было уже никакого прохода. Жена секретаря принуждена была послать в полицию просить квартального провести детей, которые будут играть комедию. Вскоре появился квартальный с двумя будочниками, и мы, под охранением сей стражи, отправились к дому градоправителя. С большим трудом провели нас сквозь толпы народа. Когда мы прибыли в дом, гости были уже в порядочном разгаре, потому что пошли в ход стаканы с пуншем: шум, говор, смех оглушили нас, так что мы, или по крайней мере я, порядочно струхнул: как играть перед таким множеством народа и пред такими лицами? (На этот раз уже были и предводитель дворянства, все заседатели и даже нарочный из губернаторской канцелярии). Когда дали знать учителю, что мы пришли, он шепнул городничему. Городничий крякнул довольно замысловато и, обратясь ко всем, сказал: "Ну, дорогие гости, теперь я вас угощу тем, чего еще никогда здесь не бывало, и как стоит город наш, такого чуда еще не было, и все вот по милости моего приятеля,- при этом он указал на учителя.- Вот такую шутку состроил из детей, что просто животики надорвешь! Итак, милости просим садиться". Расставили стулья и уселись, а те, которым недостало места, смотрели из гостиной в двери. Мы должны были выходить из лакейской, набитой битком музыкантами и лакеями, а в зале оставлено было для нас так мало места, что играть пришлось перед самым носом гостей. В первом ряду, разумеется, сидели первые сановники с дамами, которые составляли аристократию этого города.

От начала до конца пьесы хохот не прерывался, хлопали беспрестанно, одним словом, такой был шум, что нас, я думаю, и наполовину не слышали. По окончании же пьесы все гости наперерыв осыпали нас похвалами; дамы всех целовали, а сам городничий, притопывая ногой, кричал: "Славно, дети, славно! Спасибо, Илья Щванович, то есть вот как одолжил! Ну, дети! на масленую вам рубль денег, да… подайте им большой пряник, что вчера принесли мне!"

Рубль медных денег тотчас же был вручен одному из игравших в комедии. Когда же принесли пряник, удививший своей величиною (в нем было по крайней мере аршина полтора длины и аршин ширины), городничий потребовал нож и на круглом столе собственноручно разрезал пряник с математической точностью на восемь кусков и каждому игравшему вручил сам следуемую часть. Притом, целуя каждого, приговаривал: "Хорошо, плутишка!"

Меня же для отличия от прочих, согласно моему званию, погладил по голове, потрепал по щеке и позволил поцеловать свою ручку, что было знаком величайшей милости, да прибавил еще: "Ай да Щепкин! Молодец! Бойчее всех говорил: хорошо, братец, очень хорошо! Добрый слуга будешь барину!" После чего велено было нас отпустить. С трудом отыскавши свои шубенки, уже без проводников, пустились мы сами прочищать себе дорогу сквозь толпу любопытных и очутились в крайнем затруднении. К счастию, кучер городничего закричал: "Пропустите, толкачи проклятые! Это дети, которые играли комедию". В этих словах было что-то магическое: толпа раздвинулась и даже помогла нам пройти, толкая друг друга. Некоторые из очень любопытных проводили нас даже до дома секретаря, куда отправились мы, чтобы разделить жалованный капитал. Оттуда разбрелись все по своим домам.

Я был в таком чаду, что мне все казалось сном, и если бы не огромный кусок пряника и не двадцать пять копеек, доставшихся мне с сестрою по разделу, если бы не эта сумма, слишком громко звеневшая в заднем кармане сюртука моего при каждом моем движении, то я точно усомнился бы в действительности. Что тогда было у меня на мысли, что меня волновало, я не могу выразить, только мне было так хорошо, так весело, что и сказать нельзя. Говорили, что к светлому празднику хотели разучить еще комедию, но это не состоялось, потому что не отыскалось другой комедии или, что всего верней, потому что от игранной комедии расстроился весь город, и учителю было не очень ловко. Родители детей, не участвовавших в пьесе, сильно оскорбились, что их дети обойдены; между тем они везде громко кричали, что сами своим детям не позволили играть, хотя учитель и хотел поместить их, что, дескать, как можно детей благородных отцов занимать такими мерзостями, и что как те отцы одурели, что позволили детей своих сделать скоморохами: дело другое дети Щепкина; ну, их и род уж такой! Из них все, что хочешь, делай,- и что-де надо довести до высшего начальства, чтобы лучше учили детей, а не делали их лицедеями. От тех или других подобных сплетней или за неимением комедии, только спектакль другой не состоялся.

Получив два предписания для получения лошадей: одно от городничего в волостное правление, а другое от исправника в заштатный город Миропольё, который был нам по пути, я с величайшей гордостию отправился за ними в волостное правление и, представляя предписание, покрикивал, чтобы скорее давали лошадей. По получении их я приехал на квартиру, уложил свое имущество и с особенным тщанием завернул пряники, которые мы решились сохранить в целости и как трофей торжества нашего представить отцу и матери, а в знак бережливости привезти в наличности жалованье — двадцать пять копеек.

Таким образом, посадили или, лучше сказать, уложили нас в сани, завернули в бараньи тулупы сверх наших шубенок, которые обыкновенно зимою из дому присылались, чтобы не переморозить нас (отпуская присланных от отца лошадей, я догадался удержать их), и мы с сестрой наконец отправились на тройке обывательских лошадей. Проезжая по городу мимо знакомых домов, я покрикивал: пошел!.. Выехав за заставу, тоже изредка покрикивал. Дорогой пришло нам на мысль заехать в Александровку к Шеповалке и рассказать ей все, что было, и показать куски пряника, чему она будет очень рада и накормит нас бубликами и медом. Надобно знать, что Александровкой назывался хутор, в числе других имений находившийся под управлением отца моего, куда мы, хотя изредка, в вакантное время, езжали с матерью на нашу пасеку, которая там находилась, и во время приездов всегда останавливались у Шеповалки (тут-то мы познакомились с ее бубликами, которыми она прославилась). Только вот беда, надо было свернуть в сторону с предлежащего пути; поедет ли мужик в сторону? А между тем, во время таких размышлений, мороз с ветром начал нас сильно пронимать; как ни тщательно закутали нас в тулупы, но дорогой от ухабов все это раскрылось, и бедные актеры, забыв все, принялись горько плакать; мужик обернулся к нам, поглядел на нас, покачал головой и прехладнокровно сказал: "От же дитва замерзне!" Тут только изъявили мы свою просьбу завезти нас в Александровку отогреться и обещали, что ему там дадут пообедать и что лошадям сена дадут, что Александровка наша и что я все это прикажу. Не знаю, это ли убедило малороссиянина или ему просто жаль нас стало,, только он решился исполнить просьбу нашу, сказав: "Ну, добре, хлопци, тилько пострывайте, я вас заверну хорошенько кожухами, та лежить, не ворочайтесь; а то щоб и вправду не замерзли. Бачь, як дере мороз!" Исполнив сказанное, он присвистнул на лошадей, и чрез полчаса мы были на месте. Шеповалка выбежала, втащила нас поодиночке в теплую светлицу, окостенелых, от холода и всхлипывающих. Мы объяснили ей, что мы совсем замерзли, что мы играли комедию, что едем на обывательских, что нам подарили два куска пряника и двадцать пять копеек денег, и все это было высказано со слезами и дрожа всем телом. "Да ну вже мовчить, диточки! Перше отогрийтись, а то уже росскажете". И, сняв с нас шубенки и сапоги, положила нас на печь прямо в горячее жито, которое было насыпано для сушки; он" приняло нас, так сказать, в свои теплые объятия. Мы очень скоро отогрелись, а особливо, как она подала нам горячего молока,, а на закуску бубликов с медом. Когда пот градом валил с нас, мы свесили головы с печи и наконец рассказали хозяйке все наши подвиги, разумеется, с украшениями. Трудно было ей втолковать, что такое комедия, да к тому же ей, я думаю, трудно был" и понять нас, потому что мы с сестрой говорили оба вдруг, так что нас и разобрать нельзя было. Из всего рассказанного она заключила, что мы очень умные дети; подводчик был накормлен,, лошади его тоже; Шеповалка прибавила нам на дорогу еще овчинный тулуп, и мы отправились в Мирополье, где должно был" менять лошадей и где жила наша родная тетка, бывшая замужем за миропольским мещанином. Не стану описывать, с какою важностию рассказывали мы тетке о наших подвигах и с какою гордостию дядя ходил с предписанием в волостное правление и вытребовал лошадей, потому что все это было в том же тоне, а расскажу прямо приезд наш домой. Мать выбежала, прислуга тоже, внесли нас в комнаты, мать плакала от радости, отец пресерьезно позволил себя поцеловать, сказав: "Что? промерзли! сами виноваты, почему тогда не поехали? в повозке было бы теплей. Да что ты врал в письме? какую ты там играл коме- дню?" Я было хотел уже рассказывать, но он остановил: "Ну, ну! после расскажешь, а теперь отогревайтесь; да напой их чаем, Маша! видишь, как продрогли". Это меня очень удивило: не в первый раз нас привозят продрогших, но чаем никогда не поили: что ж бы это значило? Этого я не мог решить; но нетерпение удивить отца и мать своими подвигами заставило меня во время питья чаю все рассказать: всё объяснили — и как мы играли, и как нас хвалили, и что нам подарили двадцать пять копеек и два куска пряника. Тут отец, шутя, улыбнулся, потрепал меня по щеке и сказал: "Ну, пей чай,, да повтори, что ты там играл; я посмотрю, брат, каков ты молодец". Признаюсь, я был рад, что он вызвался меня послушать; думаю: покажу же я ему себя! Уж когда городничий и прочие дворяне довольны были, так уж человек его звания еще более будет доволен, и я с восторгом ожидал минуты испытания.

Надобно вам сказать, что отец мой, на мою беду, лет по нескольку живал в Москве и в Петербурге и не один раз бывал в театре и, разумеется, видел лучших артистов того времени и даже, по его словам, видал спектакли в Эрмитаже; все это объяснилось для меня уже после. Когда дошло до дела и я начал болтать свою роль с ужасной быстротой, отец расхохотался, а мать от радости плакала, видя в сыне такую бойкость. Я же, приметив, что произвожу такое действие, еще быстрей и громче пустился работать и с самодовольствием подмигивал сестре: дескать, знай наших! Пусть, дескать, отец увидит, каков я, не станет уже беспрестанно ворчать! Все это толпилось в голове моей во время хохота отца; но судите же мое удивление, когда отец остановил меня: "Ну, ну! говорит, довольно; и вы все так играли?"- "Все, — отвечал я, — и я лучше всех!" — "И вас хвалили?"- "Хвалили". — "И учитель был доволен?" — "Очень доволен!" Тут отец едко усмехнулся и примолвил: "Дураки вы, дураки! за такую игру и вас всех и учителя выдрать бы розгами!"

III.

Учебные годы

В 1802 году привезли меня в Курcк и отдали в губернское училище, которое состояло из четырех классов, и по экзамену меня приняли в 3-й класс. Это было в первых числах марта, и хотя до переходного годичного экзамена, который бывал обыкновенно в первых числах июня, оставалось не много времени, но я успел догнать всех своих товарищей, что, впрочем, было очень нетрудно, потому что все учение основывалось тогда на одной памяти. Все науки, исключая математику, закон божий и церковную историю, диктовались учителем в виде вопросов и ответов в следующей, например, форме: Вопрос. "Какая была причина войны троянской?" Ответ. "Причина была следующая: потомки Пелопсовы, усилившись в разных странах Пелопоннеса, не могли забыть обиды, которую учинили трояне предку их Пелопсу лишением его владения во Фригии и изгнанием из оной. Сверх того приметили греки, что они будут иметь препятствие в плавании по Черному морю, пока трояне в силе своей пребудут, почему и ожидали только случая объявить войну троянам". Такие вопросы и ответы ученик должен был выучить слово в слово, и боже сохрани, если кто из учеников осмелился бы изменить фразу и сказать своими словами: такого ставили на замечание, как нерадивого и невнимательного. Таким образом, при моей памяти мне было легко стать не только наряду со своими товарищами, но даже и выше, так что на экзамене я оказался первым учеником и получил в награду книгу "О должностях человека и гражданина", с надписью "За прилежание". Так как в училище поступил я в конце года, то все, что было пройдено до меня и записано по диктовке учениками, я доставал у кого-нибудь из товарищей; брал, обыкновенно в субботу, записки из какого-нибудь предмета и в понедельник возвращал, изучив их слово в слово; за такое одолжение я помогал товарищам в рисовальном классе составлять краски и владеть искусно кистью. Таким образом, на будущий учебный курс меня перевели в 4-й класс, где уже прибавились языки немецкий и латинский. Последним я занимался немного еще в Белгороде у священника; а немецкому учили нас по книге, называемой "Зрелище вселенной", с немецким и латинским текстом и с русским переводом. Но это учение продолжалось недолго: с восемьсот второго года народное губернское училище приготовлялось уже к переименованию в губернскую гимназию, в которой прибавился класс французского языка. К моему несчастью, крепостным людям не позволялось быть в этом классе; это меня так оскорбило, что я не стал ходить ни в немецкий, ни в латинский классы.

В 4-м классе словесность преподавалась в современной форме; затем: всеобщая и русская история, география, естественная история, из математики — вторая часть арифметики, геометрия и также часть механики, архитектуры и физики. Из трех последних нас знакомили, конечно, только с начальными основаниями: так, мы узнали, например, что такое астролябия, компас, рычаг, блок и ворот, что такое колонна, карниз и модуль, но не более. Словесные науки и исторические, кроме церковной истории и закона божия, преподавал П.Г. Кондратьев, а математические — С.А. 3убков. У первого было любимое слово в обращении к кому-либо из учеников, именно слово — ракалия, с произношением на "о"; оно служило ему и в изъявлениях ласки и на случай выговора. Сколько припоминаю, он отличался разными назидательными для — учеников наставлениями, так, например; "Когда тебе, ракалия, предлагают на экзамене вопрос и ты его не знаешь, то вместо его отвечай из той же науки что знаешь; тогда подумают, что ты не вслушался в вопрос, а не то, что ты не знаешь его". И много было у него подобных родительских наставлений. Этот же учитель словесности заведовал и рисовальным классом, за неимением учителя рисования, и здесь также не обходилось у него без некоторых нравственных наставлений; так, например, при начале урока он отправлял обыкновенно всех учеников в 3-й класс, окна которого выходили не на улицу, а на училищный двор, и где срисовывать на стекло было поэтому не предосудительно. Срисовка на стекло делалась, по его словам, для скорости, а перемещение учеников в 3-й класс для того, "чтоб проходящие не могли подумать, как говорил он, что я вас так и учу", а всем известно было, что он и карандаша не умел держать как следует и занимал этот класс только из-за прибавочного жалованья. И если случалось ему заметить, что кто-нибудь из учеников, поторопясь при съемке на стекло, сделает ошибку, и он решался поправить ее карандашом от руки, то такая поправка сохранялась как редкость; ученик в другой раз снимал рисунок на стекло, а поправленный оставался как документ неискусства учителя. Арифметику преподавали нам очень недурно, но, к несчастию, учитель часто бывал в веселом расположении, или просто навеселе, и ученики этим пользовались; как, бывало, когда он только что появится в класс и мы заметим его веселость, то прежде, чем успеет он дойти до учительского стола, кто-нибудь из учеников подбежит к нему со следующею, например, жалобой: "Как же, Семен Ондреевич, Щепкин говорит, что пушки в полтавском сражении не так были поставлены, как вы рассказывали?" — или что-нибудь подобное, только бы речь шла о полтавской битве. Он был жаркий почитатель Петра Великого, и полтавская битва была для него выше всех происшествий мира сего.. Первым словом его на это бывало: "Почему он так говорит? Потому, что он дурак, и я ему, дураку, это докажу!" — и тут же, бывало; возьмет мел, подойдет к доске и начнет чертить план сражения со всеми подробностями: где стояла наша пехота, где кавалерия, где казаки, где артиллерия, с поименованием всех начальников, кто чем командовал. Потом начертит план, как стояла армия Карла XII, тоже со всеми подробностями. "Ну, вот видите, дураки! Вот как все это было на самом деле", и, переведя дух, начнет, бывало, говорить о начале сражения, и тут одушевление его уже не имело пределов. Рассказывал все это он с величайшими подробностями и несколько раз прибегал к такому обороту: "Карл, видя, что дело не подается в его пользу, вдруг выдумает штуку и выкинет такой чертовский маневр, что нам точно было плохо; но батюшка, великий государь Петр, который, находясь вот здесь, — и укажет тотчас место на доске,- все это видел, на его маневр так скомандует и такую поднесет ему штуку, что все его хитрости ему же на пагубу". И все это объяснял он с величайшею душевною теплотой, не забывая ни одного движения, ни одного лица, кто где отличался в этот достопамятный для России день. Но когда доходил до места, где был страшный бой, где обе стороны поставлены были в положение умереть или победить, тут он заливался горючими слезами и с страшным энтузиазмом говорил, что "батюшка Петр тут показал себя, что он такой человек, какого еще не было, и матушка Россия ему сочувствовала в этом великом деле: Карл разбит, этот современный герой, на которого Европа смотрела, как на великого полководца, пал ниц и утратил, в полтавской битве всю свою славу, приобретенную годами. И на самом этом месте, где была страшная бойня, возвышается могила, под которой похоронены тела убитых; это — огромного размера холм, теперь уже умалившийся от времени, и на нем стоит великий памятник великого дня; памятник этот есть не что иное, как святой крест большого размера, который и будущим векам укажет, что такое был для России богом данный великий Петр!" Как рассказ такой продолжался довольно долго, то этим обыкновенно и оканчивался класс: "Ну, дети, заговорился я с вами; тройное правило начнем в следующий раз…" — и это повторялось довольно часто.

Преподавателя закона божия и церковной истории, который был протоиерей из прихода Смоленской божией матери отец 3., я мало помню; кажется, я редко ходил в его класс, потому что, живши в Белгороде у очень умного священника, я знал все по этим предметам в той форме, как тогда преподавалось: знал все библейские происшествия, имена всех пророков, все замечательные эпохи, знал хорошо Давида, со всеми эпизодами его царствования, а псалтырь его читал наизусть; одним словом, я очень силен был в древней священной истории, а из новой знал имена всех евангелистов, апостолов и прочих распространителей христианской церкви, и на репетициях, перед экзаменом, отец 3. ставил меня всегда в пример ученикам: "Вот вы занимались бы, как Щепкин, вам и не было б так стыдно"; а того он и не замечал, что я редко бывал в классе, а только спрошу, бывало, у товарищей, о чем вчера была лекция, и тотчас переберу все в своей голове; если ж случалось, что я плохо что-нибудь помнил, то сейчас же загляну в книгу "Сто четыре священные истории" и припомню опять все, что нужно. Поэтому, несмотря на такой род ученья, я был первым учеником, и это знал весь город; сам губернатор П. И. Протасов обращал на меня особенное внимание, очень ласкал меня и каждый светлый праздник присылал мне полсотню красных яиц и 5 р. ассигнациями денег, в чем мне все завидовали. Даже приказчик в книжной лавке полюбил меня, предложил мне приходить в лавку и давал мне на дом книги для чтения. Притом я пользовался книгами из библиотеки Ипполита Федоровича Богдановича. Это произошло случайно: однажды в воскресенье Богданович приехал к графу Волькенштейну; вошедши в залу, он увидел меня с книгой в руках и тотчас обратился ко мне с вопросом: "Ты, душенька, любишь читать?" -и на ответ "да", он взял у меня книгу из рук и прочитал заглавие: "Мальчик у ручья". — "Да! это довольно мило, но тебе, душенька, в эти годы надо читать книги, которые бы научали тебя, развивали бы твой ум; или, может быть, они скучны?" — Я в ответ: "Читаю то, что даст книгопродавец".- "Ну, так приходи ко мне, я тебе буду давать книги; только будь аккуратен, не держи долго, не рви и не пачкай". Я в этот же день был у него, и он мне дал, как теперь помню, "Ядро российской истории" и велел расписаться. Когда по прочтении я принес книгу обратно, он, осмотревши ее, сказал: "Вот умница, бережешь книги". Потом расспросил, что я упомнил, и как при моей памяти я рассказал ему обо многом из нее, то он поцеловал меня в голову и сказал: "Хорошо, душенька, учись, учись! Это и в крепостном состоянии пригодится". С тех пор он постоянно наделял меня книгами, с такою же аккуратностью всегда спрашивая отчет о содержании прочитанного. "Если чего не поймешь,- говаривал он мне,- ты, душенька, не стыдись спросить у меня, я тебе, может быть, и помогу". Но все это длилось очень недолго: Богданович сделался нездоров и умер или в последних числах декабря 1802-го, или в первых января 1803 года, определить точно не могу, только знаю, что это было около того времени. Доказательством может служить то, что он выписал на 1803 год журнал "Вестник Европы", который по смерти его оказался лишним; брат его, бывший в то время городничим в Сумах, зная моего отца и помня, что покойник ласкал меня, передал билет отцу моему, и, таким образом, мы имели журнал этот как наследство от знаменитого поэта. Одно меня долго удивляло: при жизни еще Богдановича я несколько раз просил у него прочитать его "Душеньку", но он всегда отказывал, приговаривая: "После, после, душенька! Еще успеешь". С кончиною его чтение мое не прекратилось; я лишился только указателя, о смерти которого горевал долго; прежний книгопродавец одолжал меня книгами по своему произволу. Между тем ученье шло своим порядком, с маленьким даже улучшением: учитель математики, опасаясь, чтоб при открытии гимназии его не заменили другим, стал реже являться готовым к рассказам о полтавской битве, довольно серьезно начал проходить геометрию и в скором времени довел нас до того, что познакомил и с практикой. Мы ходили с ним в поле и измеряли озеро с помощью астролябии и всех принадлежностей, нужных для измерения; потом он научил нас, как записывать углы и румбы так, чтобы, возвратясь домой, к будущему классу всякий положил на план измеренное, что и было исполняемо, хотя не всеми аккуратно. Мною вообще он был всегда доволен, и после нескольких вояжей я был уже действующим у астролябии.

Страстишка к театру шла также своим путем, и, к моему счастью, между учениками 3-го класса был ученик Городенский, родной брат по матери содержателям театра, г-м Барсовым. Так как в рисовальный урок все ученики соединялись в 3-м классе, по известной уже причине, то я тут и познакомился с Городенским и взял его, так сказать, под свое покровительство; а он за это, если я почему-нибудь опаздывал забраться в театральный оркестр с музыкантами, которые были из нашего дома и которым я всегда помогал таскать в театр или литавру, или контрабас, провожал меня в таком случае в раек, где мне было смотреть гораздо удобнее, чем из оркестра. Случалось, что Городенский приглашал меня к себе обедать; там я узнал его семейство: отца, Вакха Андреевича, и старших сыновей, Михаила, А. и Петра, которые были содержателями театра. Старший из этих сыновей был уже на воле, а меньшие — еще крепостные, и меня удивляло одно: они тоже были господские, а с ними и их господа и весь город обходились не так, как с крепостными, да и они сами вели себя как-то иначе, так что я даже завидовал им и все- это приписывал не чему иному, как именно тому, что они актеры, а потому быть актером была главная моя цель. Во время вакации, в деревне, в июле месяце, в день именин графини всегда игралась какая-нибудь опера, и я помню, что однажды умолял регента П.Г. Смирнова, чтобы мне дали какую-нибудь роль в "Несчастье от кареты", и мне дали роль Фирюлина, хотя мне было только четырнадцать лет. Итак, я играл Фирюлина, а покойная сестра Александра — Фирюлину. Ну, про радость, которую я тогда чувствовал, я не буду говорить, потому что на это и слов нет; а особливо когда покойный граф после спектакля, погладив меня по голове, сказал: "Хорошо, Миша, хорошо!" — и тут же дал мне поцеловать свою руку.

Теперь считаю нужным познакомить читателя с домашним образом моей жизни: ведь из всех-то этих мелочей и составилось мое будущее. Когда отдали меня в ученье, то приказано было, чтобы я обедал и ужинал у П. Б., любимой женщины графини; а когда после экзамена я оказался первым учеником, то велено было поить меня и чаем. По случаю переезда господ в деревню мне приказано было обедать с дворецким. На другой год случилась маленькая перемена: сменили дворецкого в Курске, и сделан новый, который прежде был приказчиком в селе Красном. Так как отец мой был главным управляющим над всем имением, и притом строгой честности, то, заметив не совсем чистые действия по управлению красновского приказчика, он отставил его, и на его место определили курского дворецкого. Около этого времени красновский приказчик женился на одной приданной за графиней девушке и по ходатайству жены получил означенное место дворецкого в Курске. Когда господа уезжали в деревню, то не дали этому новому дворецкому особого обо мне приказания, и он, будучи сердит на моего отца, лишившего его доходного места, вздумал вымещать на мне и не удостоил меня чести допускать к своему обеду, а приказал кормить меня в людской вместе с дворником и кучером. До смешного это оскорбило меня! Сына управителя, а главное — первого ученика в народном училище посылать обедать вместе с людьми казалось мне ужасным, и я несколько дней питался хлебом с водой; наконец начал приискивать средства: переписывал для товарищей кой-какие записки, что я делал и прежде, но тогда из лакомства, а теперь за деньги, так что у меня всегда был грош в кармане, и на него покупался следующий обед: на денежку салату, на денежку пивного уксусу, а на копейку конопляного масла, и мы с башмачником Петром уписывали порядочную корчагу этого лакомства. Однако ж всякий день одно и то же — скоро надоело, а изменить нашего обеда было невозможно, и такое положение очень тяготило меня. Наконец однажды Городенский объявил мне, что братья его, то есть содержатели театра, предлагают мне выписать роли из комедии "Честное слово" и что за это они мне хорошо заплатят. Я согласился, и, хотя комедия была в 5-ти актах, я, не манкируя уроками, выписал роли очень скоро, но, когда принес свою работу, мне выдали 25 копеек медных. С полною радостью, прибежал я домой и обдумывал: какой обед себе устроить, даже, так сказать, прихотливый, чтоб вознаградить себя за сухоядение, и на другой же день, с солнечным восходом, отправился на рынок. Так как это было, в Петров пост, то я купил себе на уху великолепных ершей, десятка два, и заплатил за них 10 копеек; из остальных денег 10 копеек уплачено сбитенщику, который перестал было отпускать мне сбитень в кредит, а пять копеек оставил на будущие покупки салату. Кухарку попросил, чтобы сварила уху, хорошенько бы вычистила рыбу, а главное, чтобы не раздавила желчи и не наводнила много, чтоб уха была и вкуснее и жирнее. Кухарка не отказалась, но предложила мне свои маленькие условия: чтобы я прежде принес ей с Тускари три ведра воды, а то таскать ей на гору тяжело, и, разумеется, за мною дело не стало: я тотчас это выполнил и в наказе прибавил, чтобы она, ради бога, не пересолила и чтоб рыба не переварилась, и потом пошел в класс, где все время был в каком-то приятном ожидании. Из всего, что в этот день проходили, я ничего не слыхал, потому что в глазах у меня только и виделось, что в ухе плавающие ерши; все товарищи это заметили, и я сознался в причине моей рассеянности. Тогда один из них, Булгаков, сказал: "Возьми меня с собой, так я и калачей куплю". Разумеется, спору не было, и мы насилу дождались окончания класса. Наконец он кончился, и мы полетели домой, только Булгаков сбегал прежде за калачами. Пришли. "Что, Аксинья, уха готова?" — "Давно готова!.. Да вы бы тут поели, вот свободная комнатка, подле кухни, где работают портные; она теперь пустая; а то нести горшок в дом неудобно; пожалуй, остудится еще, разобьешь, а главное- простынет". И мы убедились ее доводами. Она постлала какую-то скатертину, или что-то вроде простыни не слишком чистой, и подала горшочек с ухой. Пар от ухи привел нас в неописанную радость; сама уха заплыла жиром; я отведал — чудо как хороша! помешал ложкой: "Где же ерши?" — "Я вынула их на тарелку, чтобы не разварились, они в ящике — в столе. Да ешьте скорее, а то простынет, а там и рыбу достанете сами в вашем столе". Мы принялись работать. Съевши по тарелочке ухи с калачами, я говорю: "Теперь по другой, да положим прежде ершей на тарелку, а то они теперь, верно, остыли, и нальем их ухой". Отодвигаю ящик и — о ужас! — над последней рыбкой сидит кошка и преспокойно докушивает ее. Высказать состояние, в котором я тогда находился, нет слов. Я окаменел, а не заплакал: был в каком-то странном оцепенении; товарищ хохотал, как сумасшедший, а я не сводил глаз с кошки, которая, докушавши последнюю рыбку, так сладко облизывалась и так умильно смотрела на меня, как бы благодаря за угощенье. Но я, опомнившись, невзирая на ее умильные взгляды, взял ее за шиворот, взмахнул и так сильно ударил о каменный пол, что убил ее до смерти, и вместе с тем горько заплакал. Когда горе прошло, я помню, что долго сердился на самого себя за такой поступок, потому что прежде я никогда не замечал в себе наклонности к озлоблению. Но, с другой стороны, обстоятельство это помогло мне, и положение мое скоро изменилось к лучшему. Когда я приехал в деревню, то при встрече со мной К.Г. Волькенштейн спросила меня: жива ли ее кошка (убитая мною кошка была ее любимою). Я отвечал, что приказала долго жить, и тут же сознался, что я убил ее, и когда рассказал ей, при каких обстоятельствах, то она не рассердилась даже на меня, но на другой же день передала все отцу, и дворецкому отдано было обо мне особое приказание — содержать меня прилично: с той поры все пошло своим прежним порядком. Летом граф выпросил у губернатора Переверзева землемера для размежевания земли на поля и десятины: меня отдали в помощники, и я оказался с достаточными для того сведениями. По возвращении в город дела мои шли тем же путем до самого экзамена. На экзамене я опять отличился, опять получил в подарок книгу с надписью "За прилежание", и хотел было уже просить графа, чтоб взяли меня из училища, потому что учиться мне уже нечему. Но директор училища И.С. Кологривов уговорил графа оставить меня на вакацию в городе, потому что от правления университета получено предписание: приискать копию с плана Курской губернии, с показанием почтовых дорог; а как лучше меня никто этого не сделает, то я и должен был остаться на это время; притом в последних числах августа приедет в Курск,, для открытия гимназии, первый попечитель харьковского университета С.О. Потоцкий, и без меня некому будет сказать ему речь. Все эти уважительные причины склонили графа, и, к моему горю, давши мне погулять немного, посадили меня за съемку плана. Тоска, скука! В классе один! Под конец только дали мне помощника подписывать названия сел и деревень, товарища Попова (сына городского нотариуса), и все это было вдвойне огорчительно после случившегося со мной следующего происшествия.

Через несколько дней по начале моего черчения входит однажды в класс учитель, который тут же объявил мне, чтоб завтра утром я не приходил в класс, а отправился бы, часов в девять, к князю Мещерскому: "Князь просит директора прислать тебя срисовать ему что-то и за это даст тебе на калачи". На другой день я отправился к князю. Когда ему доложили о моем приходе, он вышел и повел меня к себе в кабинет. На столе у него лежали кое-какие рисунки, которые я рисовал к экзамену. Указывая на них, князь сказал: "Это, милый, очень хорошо; а теперь ты мне срисуй с этой вазы группу фигур, только в уменьшенном виде", и он поставил передо мной алебастровую разу, кругом которой сделаны были фигуры. "Мне нужно для столика, чтоб эти фигуры вырезать из дерева на выдвижном ящике". Я покраснел, сколько мог, и, заикаясь, отвечал, что я этого сделать не могу. Князь же, указывая на мои рисунки, продолжал: "Они очень верны с оригиналами, которые я хорошо знаю, и сходство чрезвычайное".- "Да при нашем учении — сходство дело нетрудное, потому что мы срисовываем на стекло". Боже мой, как князь взбесился: "Да чего ж смотрит директор? Я сейчас поеду к нему и объясню ему все; а ты ступай, милый, домой. Очень жаль, что ты не можешь, я бы тебе хорошо заплатил", и все-таки он дал мне при этом 15 коп. серебром на орехи. Я отправился домой, а он тотчас же поехал к директору. После обеда пришел ко мне сторож Устинов: "Пожалуйте, говорит, к П.Г.". Когда я пришел к нему, он с гневом напустился на меня: "Как же ты, ракалия, сказал князю, что я учу вас рисовать на стекло!.." — "Нет,  — говорю я,- П.Г., я ему сказал, что мои рисунки, лежавшие у него на столе, в которых он находил большое сходство с оригиналами, были мною срисованы на стекло".- "А для чего же ты это сказал, ракалия?" — "Да, помилуйте, как же мне было не сознаться, когда князь заставлял меня срисовывать фигуры с алебастровой вазы да еще в уменьшенном виде, и когда я ему сказал, что я этого не могу и просто не умею, то он, указывая на мои рисунки, возразил мне: кто так верно умеет срисовывать с оригиналов, тому стыдно не сделать этих фигур. Тогда я сознался князю, что снимал на стекло". — "Ты бы, ракалия, сказал, что у тебя теперь болит голова, а не клеветал на учителя". — "Да, помилуйте, вы сами всегда посылали в третий класс для этого". — "Это делалось, ракалия, для вашего облегчения, и я вас так не учил; а теперь я из-за тебя получил от директора выговор; так я тебя научу, ракалия, как подвергать учителя подобным выговорам". И тут П.Г. приказал принесть розог и выпорол меня преисправно. Все это меня так ожесточило, что я не мог дождаться конца моей работы и приезда попечителя. В отмщение, по окончании плана, я прибавил, и сам уж не знаю для чего, в Ольговском уезде, на речке Сейме, село Хархабаево. Наконец приехал и попечитель. Собрали в городе учеников, которые были в это время налицо; между ними и аз грешный. Когда дано было мне знать, чтобы я начал речь, то я подошел к попечителю, сделал поклон и довольно громко произнес следующие слова: "Ваше высокографское сиятельство! Когда вседействующий промысел соблаговолит на какое-либо государство излить свои милости, то обыкновенно\' посылает мудрых начальников", и проч. и проч. Вся речь состояла из подобных любезностей. На другой день я уже ехал в деревню и вез графу от директора благодарственное письмо за мои подвиги. Тем и кончилась моя наука.

IV.

Первый успех на губернской сцене

В 1805 году мы переехали с господами в Курск довольно поздно, и за небытностью моей в городе договорен был другой суфлер на зиму и на Коренную, то есть для спектаклей на время Коренной ярмарки. Горько было для меня узнать это. Средство бывать в театре осталось одно, прежнее, то есть ходить с оркестром музыкантов, нести контрабас или литавры; впрочем, если удавалось мне перед спектаклем увидать Городенского, то есть меньшого брата содержателей Барсовых, то он меня всегда проводил или в партер, или в оркестр, или за кулисы. Но особенно горько было то, что я утратил право свободно входить в театр и самому быть участником в деле.

По счастию, случай, который баловал меня в течение целой жизни, что ясно будет видно из моих "Записок", и в настоящее время помог мне. В половине ноября актриса Пелагея Гавриловна Лыкова приехала к господам с бенефисной афишей. Граф взял у ней билет в кресло, заплатил 10 руб. ассигнациями — это по-тогдашнему была значительная плата, потому что в обыкновенные спектакли цена креслам была полтора рубля ассигнациями,- и тут же, обратись ко мне, сказал: "Миша, проводи г-жу Лыкову в чайную и скажи Параше, чтобы она напоила ее кофеем". В то время не было в провинции в обычае сажать и угощать актрис в гостиной. Между разговором г-жа Лыкова жаловалась, что билеты раздает, а еще не знает, будет ли бенефис, потому что актер Арепьев прислал записку из трактира, что он все платье проиграл и обретается в одной рубашке: так чтоб прислали ему денег для выкупа платья; если же не вышлют, то он играть в бенефисе не может, потому что ему выйти не в чем, да и не выпустят. А как он почти все жалованье забрал вперед, то содержатель отказал ему в деньгах, "и я,- говорила [Параше] бенефициантка,- не знаю, милая, что мне делать". При этих словах во мне все так и закипело! Я дрожащим голосом спросил ее: "А что он играет?" — "Андрея-почтаря в драме "Зоя",- отвечала она. Так как прошедшую зиму часто я суфлировал эту драму и знал ее очень хорошо, поэтому тут же, задыхаясь от волнения, предложил Лыковой: "Позвольте, я сыграю эту роль".- "Да разве ты когда играл на театре?" — "Помилуйте, несколько раз, в деревне, на домашнем театре".- "Что же ты играл?" — "Помилуйте… я играл Фирюлина в "Несчастье от кареты" и даже инфанта в "Редкой вещи", а будущее лето буду играть Фому в "Новом семействе".- "Да как же, милый мой,- продолжала Лыкова,- ведь бенефис завтра; успеешь ли ты выучить роль, кажется, листа два?" — "Помилуйте, да это безделица".- "Ну, милый, спасибо тебе! — и поцеловала меня в голову.- Я, говорит, отсюда же поеду к М.Е. Барсову (он был старший из братьев-содержателей), скажу ему об твоей готовности помочь нам, и если он согласится, в чем я нисколько не сомневаюсь, то я попрошу его, чтобы он прислал к тебе книгу для скорости, а то роль не скоро от Арепьева получишь. Ведь тебе все равно, что по роли, что по книге? А я тебе скажу, что по книге для скорости гораздо лучше учить, а ты не поленись, прочти всю драму, и если хватит времени, то не один раз: это весьма полезно. Ну, прощай! через час ты получишь книгу".

После этого что со мной было — я пересказать не могу: я готов был и плакать, и смеяться, и первому встречному бросаться на шею, что я и сделал, повстречавшись с Васей, которого я любил. А он мне: "Что ты, с ума сошел? вешаешься на шею!" — "Вася, Вася! знаешь ли, я завтра играю на театре роль Андрея-почтаря в драме "Зоя"! — "Нет?! право, смотри — не осрамись! это ведь не то, что в деревне".- "Ну, Вася, что будет, то и будет!" — и в доме не осталось ни одного человека, которому бы не рассказал я об этом.

Разумеется, тут были и маленькие насмешки на мой счет, но меня уже ничто не оскорбляло, тем более что некоторые от души желали мне успеха. В доме был я общий любимец. Я не сходил с крыльца, потому что с него был виден дом П.И. Анненкова, где жили Барсовы: я видел, как Лыкова туда приехала и через полчаса уехала к себе на квартиру. Прошло два мучительных часа, а никакой вести ни от нее, ни от Барсовых не было. Грусть начинала одолевать меня. Чтобы выйти из этого положения, я прибегнул к хитрости и, надев картуз, отправился к Лыковой на квартиру. Когда я вошел, она спросила меня: "Что ты, мой милый?" — "Я, говорю, пришел узнать, нужен ли я вам завтрашний день или нет? А то теперь есть оказия, я хочу отпроситься в деревню повидаться с родителями".- "Ах, милый, пожалуйста, не езди, а то мне без тебя будет плохо: разве Михаил Егорович не присылал тебе книги?" — "Нет",- я отвечал. "Ну, так скоро пришлет; пожалуйста, выручи меня из беды!" — "Помилуйте, всей душой рад быть для вас полезным".- "А когда выучишь, то приди ко мне; я тебя прослушаю и замечу, что нужно".- "Да вы вечером будете дома?" — спросил я.- "Буду".- "Так я вечером приду, и вы меня прослушаете".- "Смотри, не скоренько ли?" — "Нет, выучу".- "Ну, так приходи; я тебя и чайком напою". Возвратясь домой, я спрашиваю у товарищей: "Не приносили ли мне от Барсова книги?" — и общий ответ был — нет? Все опять начали шутить и острить на мой счет, но мне было не до них: тот же картуз на голову — и прямо к Барсову. Прихожу к нему и говорю, что, мол, Пелагея Гавриловна Лыкова просила меня прийти к вам и спросить, ежели вы не передумали насчет ее бенефиса, то чтобы пожаловали книгу — драму "Зоя", из которой она просила меня выучить роль. "Нет, милый! — отвечал он,- не передумал и очень рад, что ты пришел, а то братьев нет дома, человека я услал, и мне некого было к тебе отправить". Сказав это, он тотчас вручил мне книжку и примолвил: "Ты, я уверен, выучишь — я о твоей памяти знаю от брата Николая, и говоришь ты всегда ясно — это мне известно: ведь ты прошлого года был у нас несколько раз славным суфлером. Жаль, что поздно нынешний год вы приехали и мы принуждены были нанять суфлера: такая дрянь, что мочи нет!.. Прощай, а завтра поутру приди, я тебя прослушаю". Все это было сказано, как я понимал, для ободрения; но для меня это уже было лишнее. Одна мысль, что я завтра играю, так пришпоривала меня, что мне нужна была, напротив, крепкая узда, чтобы только сдерживать. Выйдя за ворота, я все забыл, кроме того, что я завтра играю, и, несмотря на то, что шел по улице, дорогой начал учить роль и несколько раз останавливался, не замечая, что прохожие подсмеивались надо мной, но я, кроме книги, ничего не замечал, и когда пришел домой, то роль была почти уже выучена. С какою гордостью показал я товарищам книгу: "Что! — говорю,- смеялись, не верили, а я вот завтра непременно играю!" — и тут же отправился в комнату. Через три часа роль была вытвержена как "Отче наш", книга, по наставлению Лыковой, прочтена два раза, и не осталось, кажется, в доме человека, от дворецкого до кучера, кому бы я не прочитал роль свою наизусть. Вечером отправился к Лыковой, которая встретила меня словами: "Что!, выучил?" — "Выучил".- "Благодарю тебя, мой милый. Книгу принес с собой?" — "Принес".- "Ну, садись же! Вот мы прежде напьемся чаю, а там я тебя и прослушаю". Но мне уж было не до чаю, а делать нечего. Тут все как будто сговорилось против меня: и самовар не скоро подан, и чай она делала мешкотно, и наливала чашки слишком медленно, и хотя все шло своим порядком, да нетерпение мое было таково, что мне это время показалось очень долгим. Но вот все и кончено. Чай отпили, самовар и чашки убраны, и хозяйка обратилась ко мне: "Ну, говорит, прочти, душка, я тебя прослушаю. Дай мне книгу": Я вручил ей книгу, и какой-то огонь пробежал по всему моему телу; но это был не страх — нет! страх не так выражается,- это был просто внутренний огонь, страшный огонь, от которого я едва не задыхался, но со всем тем мне было так хорошо, и я только что не плакал от удовольствия. Я прочел ей роль так твердо, так громко, так скоро, что она не могла успеть мне сделать ни одного замечания, и по окончании встала и поцеловала меня с такой добротой, что я уж не помнил себя, и слезы полились у меня рекою. Это ее очень удивило. "Что с тобой?" — сказала она.- "Простите, Пелагея Гавриловна, это от радости, от удовольствия: других слез я почти не знаю".- "Что ж, мой дружок, неужели ты обрадовался тому, что тебя поцеловала старуха? Будто тебе поцелуй старухи так дорог?" — "Да, дорог, потому что он — первая награда за малый труд, который вы по доброте своей слишком оценили, и этого я никогда не забуду".- "Ох ты, ребенок, ребенок! — прибавила она. — Ну, это в сторону. Спасибо, тебе, спасибо, а все-таки послушай меня: ты слишком скоро говоришь. Конечно, всякое твое слово слышно, но этой быстротой ты вредишь самому себе; ты душишь себя; от этого выходит, что когда некоторым словам надо дать больше силы, а ты уже ее напрасно истратил". И тут же указала мне на некоторые фразы, объяснила, почему надо их усилить, посоветовала запомнить ее замечания, и если не устал, то чтоб дома еще прочитал роль,, стараясь дать указанным фразам более силы. "Ну, прощай! А как ты дорожишь поцелуями старух, то вот тебе и еще поцелуй". Но последний почему-то не произвел на меня никакого действия, да и голова моя была занята только что выслушанными советами. Возвратясь, я прочел роль еще несколько раз, не замечая, что читаю все так же быстро; только указанным фразам давал я более силы, которой у меня был избыток. На другое утро я в 7 часов отправился к М.Е. Барсову. Прихожу — говорят: спит. Я вышел за ворота, думаю — домой идти не для чего, и просто стал шагать взад и вперед по улице, заходя через несколько минут узнавать, проснулся ли? И "нет" было постоянным ответом. Наконец, в 9 часов, говорят, проснулся. Я вхожу. Михаил Егорович спрашивает: "Выучил?" -"Выучил",-отвечал я.-"Ну, давай книгу, я тебя прослушаю". Он сам мне говорил последние реплики, что делала и Лыкова, а я работал от всей души языком, и руками, и ногами. Выслушав меня, он улыбнулся и сказал: "Хорошо, но только уж слишком быстро, да поменьше маши руками. Ну, ступай теперь домой, а на репетицию мы пришлем за тобой". Возвращаясь домой, разумеется,, дорогой читал я опять роль -не знаю и сам для чего, потому что я ее очень хорошо вытвердил; просто мне было как-то приятно ее прочитывать. Дома товарищи обступили меня с вопросами: что, буду ли я играть? "Разумеется, буду, — отвечал я с уверенностью,- и как только Барсовы приедут в театр, то пришлют за мной на репетицию". Но, как нарочно, все тянулось медленно: на репетицию Барсовы приехали довольно поздно и, приехав, не скоро за мной послали. Медленность эта была для меня пыткой, а особливо когда и в назначенное время из театра не скоро пришли меня звать. Тут уж товарищи начали подтрунивать. "Что, брат, прихвастнул! Вот они давно уж проехали, а за тобой не присылают". Мучению моему не было границ. Я беспрестанно бегал на заднее крыльцо поглядеть, не идут ли за мной, хотя и с переднего крыльца также было видно, но тут замучили бы меня насмешками над моим нетерпением. Наконец сторож Устинов показался, и я ожил. Видя, что он идет прямо к нам, я вошел в залу, где тогда много было нашей братьи, — вошел уж покойно; и только что принялись было опять за насмешки, как вдруг голос Устинова в передней: "Где у вас тут Щепкин?" Я из залы отвечал: "Здесь!" -и подошел к двери. "Идите, вас ждут на репетицию!"- "Хорошо, сейчас!" — и все товарищи, оставив насмешки, были рады такому событию, а Вася даже поцеловал меня. Такой водился у нас в доме патриархальный порядок, что никто никогда и ни у кого не спрашивался, идучи со двора, что, разумеется, и я делал; а теперь мне показалось как-то неловко уйти без спросу, и я тотчас же вошел в гостиную, где граф сидел с графиней. Он, по обыкновению, курил кнастер, а графиня занималась приведением в порядок каких-то узоров. "Позвольте, ваше сиятельство, мне отлучиться в театр".- "Зачем?"-"На репетицию".- "На какую репетицию?" — "Драмы "Зоя", я играю в ней Андрея-почтаря". Граф захохотал и закричал: "Браво, браво, Миша! Да смотри — не осрамись! Я буду в театре, и как хорошо сыграешь… ну, да тогда узнаешь". А графиня прибавила: "Ну, я думаю, ты как сыграешь, то уж будешь лениться рисовать узоры". — "Нет, ваше сиятельство, еще лучше зарисую".

На репетиции все было опять по-прежнему, то есть быстрота речей, беганье, размахиванье руками: обо всем этом мне напоминали и Барсовы и Лыкова. Между репетицией и спектаклем страшный промежуток: чего уж я не делал! даже уходил незаметно в домашнюю баню, которая, разумеется, была холодна, но мне было везде жарко; там я пробовал, можно ли говорить не слишком скоро, не махая руками и не бегая по сцене. И хотя мне казалось, что я довольно успел, но проклятая недоверчивость к себе меня мучила, и я решился Васю сделать свидетелем моего труда, упросил его сходить со мной по секрету в баню, послушать меня, как я играю, и сказать мне правду, только чтобы никому не выдавал, а то будут смеяться. И что же? Когда я начал показывать свое искусство, все опять заговорило — и руки и ноги. Вася, любя меня, был очень доволен, но все-таки прибавил: "Кажется, очень скоро говоришь!" Я ведь именно и думал о том, чтобы говорить пореже. "Ну, спасибо, Вася, иди себе, неравно граф тебя спросит, а я еще здесь поучусь говорить пореже". И в таком беспокойстве и беспрестанном учении прошел этот страшный промежуток. Когда же я начал собираться в театр, тут опять пошли шутки: "Куда спешишь? Еще успеешь осрамиться!" Другой прибавлял: "Подожди, рано, да и литавры кстати захвати, снесешь в оркестр". Это было, как я сказывал, у меня одно из средств бывать в театре. Но я не обижался такими шутками. Мне было как-то весело, даже сам смеялся. Наконец я прибыл в уборную театра, которая играла две роли — и уборной и передней для входа на сцену с актерского подъезда. Не припомню всего костюма, в который меня нарядили; знаю только, что на ноги мне надели страшные ботфорты, которые только одни и были во всем театре и потому приходились на все ноги и возрасты. Чем ближе шло к началу спектакля, тем становилось для меня жарче, хотя все жаловались на холод, так что перед выходом на сцену я был уже совершенно мокр, от испарины. Как я играл, принимала ли меня публика или нет — этого я совершенно не помню. Знаю только, что по окончании роли я ушел под сцену и плакал от радости, как дитя.

По окончании пьесы Лыкова благодарила меня с одобрением: "Хорошо, милый, очень хорошо!" Барсов тоже сказал: "Хорошо", и прибавил: "А все-таки спешил говорить!" Иван Васильевич Колосов, учитель из народного училища и зять Барсова (который в этот день по их просьбе суфлировал, потому что настоящий суфлер оказался на тот раз неспособным), потрепал меня по щеке, поцеловал в голову и сказал: "Спасибо, Миша, спасибо, хорошо! И как ты ловко нашелся, когда Михайло Егорыч перешагнул из первого в третий акт! Я, признаюсь, растерялся, кричу из суфлерни: "Братец, не то, не то!" — а он все порет тот же монолог, и, когда он кончил, я не знал, что делать. Да, ты ловко очень нашелся и выгнал его со сцены. Правда, по самой пьесе это следовало, но ты, конечно, заметил, что он не то говорил, и, спасибо, поправил сцену и сам не сконфузился: ловко! ловко! Ты, видно, всю пьесу хорошо знаешь?" — "Что мне лгать, Иван Васильевич,- отвечал я,- как и что было на сцене, я, право, ничего не помню. Пожалуйста, скажите мне, не совсем дурно я играл?" — "Полно, милый, хорошо, очень хорошо, и публика была очень довольна. Ты слышал, какие были аплодисменты?" — "Ничего не помню".- "Ну, спасибо!" Уходя из театра, М. Барсов тоже повторил: "Ну, спасибо"; а я ему на это: "Мне и Иван Васильич сказал спасибо; он говорит, что перепугался, когда вы махнули из первого акта в третий; да спасибо, говорит, ты все дело поправил".- "Нет,- отвечал он очень холодно,- это ему так показалось". И мне было совершенно непонятно, как можно человеку не сознаться в истине. Когда я пришел домой, все люди и музыканты меня уже ждали, и пошли объятия; кажется, только двое не обняли: Саламатин и Александр (первый скрипач), которые тоже игрывали на театре и пользовались лаской публики. "Ступай скорей к графу,- сказал мне Вася,- он тебя три раза спрашивал". Когда я вошел, граф захохотал и закричал: "Браво, Миша, браво! Поди, поцелуй меня!" И, поцеловав, приказал: "Вася, подай новый, нешитый триковый жилет!" Вася принес; граф взял и положил его мне на плечо: "Вот тебе на память нынешнего дня". Я, по заведенному порядку, хотел поцеловать ему руку, но он не дал и, поцеловав меня в голову, сказал: "Ступай к Параше, я велел приготовить самовар и напоить тебя чаем; напейся и ложись отдыхать, а то ты, я думаю, устал". После чаю, выпитого, разумеется, в порядочном количестве, я лег спать и, кажется, всю ночь бредил игрой. На другой день все вчерашнее мне казалось сном; но подаренный жилет убеждал меня, что то была сущая истина, и этого дня я никогда не забуду: ему я обязан всем, всем!

V.

1808-й год. Спасение утопающих

…Пришло время переезжать из города в деревню, потому что граф Волькенштейн только зиму жил в Курске, а каждое лето в деревне. По этому случаю привезли в Курск на сорока подводах сто четвертей пшеницы, запроданных орловским купцам. По ссыпке пшеницы на этих самых подводах повезли в деревню оркестр музыкантов, хор певчих, несколько официантов и меня, хотя настоящая моя должность была — как бы сказать? — графского секретаря, или письмоводителя, или чего-то вроде этого. По тракту нашему нужно было переправляться через реку Псёл на пароме. Дорога была проселочная, поэтому и паром был не слишком завидный и так мал, что больше четырех телег на себе не помещал: нужно было оборотиться раз десять, чтобы перевезти всех на другой берег. Переправившись с первыми возами, мы вздумали покупаться. Время было теплое, хотя это было и в начале мая. Обоз между тем продолжал переправляться. Не хотелось нам вылезать из воды, а нужно было: уже много возов переправилось. Когда мы вышли на берег и начали одеваться, бывший при пароме старик, с трубочкой в зубах, высекая кресалом огонь, спокойно сказал: "А що вы, хлопцы, знаете? человек тоне". — "Что ж ты не поможешь ему?" — отвечал я. "Та то не наш!" — отвечал он мне. Я бросился в ту сторону, куда он указал. Псёл в этом месте делал крутой поворот, так что сначала мы не могли видеть ничего, что делалось за углом поворота. Добежав до указанного места, я увидел, что вместо одного тонут двое, схватившись друг за друга. Я плаваю очень сильно, а потому и бросился к ним. Пока я добрался до них, они раз уже несколько окунулись; но, к счастию, река в этом месте была не слишком глубока: дойдя до дна, они упирались в дно ногой, выскакивали наверх воды и, переведя дух и побарахтавшись немного, опускались снова. Когда я доплыл к ним, они показались на воде и, увидев меня, бросились ко мне так стремительно, что я при всей своей храбрости нырнул от них в сторону: я чувствовал, что один не мог бы сладить с ними, тем более что один из них был огромного \'роста, вершков двенадцати, да и другой вершков шести, а с двумя трудно ладить на воде. Вынырнув, я крикнул мужикам, с любопытством ожидавшим, чем все это кончится, чтоб они бросили мне конец вожжи, потому что дело было не слишком далеко от берега; но спуск был очень крут, и у самого берега была уже глубь. Когда бросили конец вожжи, я обмотал ее около левой руки и наказал им, чтобы они тянули вожжу, как только утопающие схватятся за меня. Распорядившись таким образом, я подплыл к тому месту, где они начали уже реже показываться; я думал уже, что все кончено. Но, к счастию, они еще раз показались, и очень близко от меня. Я схватил одного правою рукой за волосы, а другой схватил меня самого за горло, и мы все трое пошли ко дну. Тут мужики, по моему наставлению, потянули вожжу, и мы помаленьку начали подплывать под водой к берегу. Когда недоставало духу, то я, собравшись с силами, упирался крепко в дно, — нас выбрасывало, и я переводил дух; но, невзирая на все мое мастерство в плавании, я должен был опять опускаться ко дну. Оба же тонувшие начали терять память. Между тем мужики делали свое, и все тянули да тянули, и вот, не один раз измерив глубину реки, мы приплыли к крутому берегу. Несколько рук явилось на -помощь, и хотя с трудом, но нас вытащили. Утопающие мои были словно полоумные, особенно самый большой. Между тем пошли расспросы, как это случилось; не скрою, я несколько гордился, впрочем, только мысленно, своим подвигом, что вот, дескать, спас двух человек. Между тем один из тонувших пришел в себя. Кто-то из мужиков обратился к нему с вопросом: "Тебе, дурный, який черт кинув в воду?" Тот ему в ответ: "Э! чоловек тоне". — "Эх, дурный, дурный! Ведь ты плавать не умеешь". — "Э! в голову не пришло!" Этими словами он совершенно уничтожил меня: я был сильный пловец, и было бы подло с моей стороны не броситься спасать их, а он кинулся в воду спасать человека, забыв, что не умеет плавать; признаюсь, мне стало стыдно. Происшествие это кончилось очень глупо с моей стороны. Когда и другой тонувший пришел в себя, то вдруг ни с того, ни с сего поворотил прямо к реке и пошел вглубь. Я схватил его за руку и спросил: "Куда ты?" — "Обмыться!" — был его ответ. Это так рассердило меня, что я сильно ударил его, так что он упал. Тогда первый обратился ко мне с ироническою усмешкой и сказал: "От-се, Семенович, вытяг человека, щоб убити". Из уважения к его благородному поступку я записал его имя: звали его Алексей Хоремер.

VI.

Князь П.В. Мещерский

Теперь мне следует рассказать случай, который имел сильное влияние на мое сценическое образование. Да, это был, так сказать, толчок, который заставил меня мыслить и увидать многое в совершенно новом свете.

Жил в Курске вельможа времен императрицы Екатерины II, князь Прокофий Васильевич Мещерский, человек, по своему веку, весьма образованный. Он знал много языков и был еще художником: занимался живописью, скульптурою, резьбою, токарным и даже слесарным искусством; а впоследствии князь открыл столярню, и мебель, выходившая из его мастерской, отличалась своим изящным рисунком. Носился слух, что он первый начал употреблять тогда для мебели вместо красного и орехового дерева березовые выплавки. Про него же говорили, что он был удивительный актер; но я никогда еще не видал его игры, хотя и знал его очень давно. Еще когда я был в училище, то на экзаменах он всегда ласкал меня как первого ученика.

Надобно сказать, что князю было уже лет за семьдесят, но такой красивой старости я другой уже не припомню: благороднее лица нельзя выдумать, и притом в речах и во всех движениях его виден был вельможа в полном смысле.

Наконец, в 1810 году я видел его играющего в Сумароковой комедии "Приданое обманом" роль Салидара. Это было в Юноковке, в доме князя Голицына, на домашнем спектакле, в котором участвовали также и другие любители театра. Надобно сказать, что в это время я был уже актером, лет пять уже пользовался вниманием публики и получал самый большой оклад жалованья — 350 руб. асе. (сорок лет назад эта сумма была очень значительна). Не могу высказать, с каким старанием искал я случая увидать игру князя М[ещерского].

Наконец судьба подарила мне этот случай, очень важный для меня. Вот как это было. Так как летом спектаклей не было и время было для меня свободное, то я стал учиться рисовать, к чему у меня всегда была наклонность. Учителем моим был академик Николай Антонович Ушаков. В то время портреты его работы славились необычайным сходством. Этому самому Ушакову сделано было предложение приехать к князю Голицынув деревню Юноковку для списывания портретов, на что Ушаков очень охотно согласился. Прислана была коляска. Ушаков пригласил и меня ехать, и мы отправились вместе. По приезде в Юноковку мы нашли там и князя М[ещерского]. и, к величайшему моему удовольствию, узнали, что вечером будет домашний спектакль и князь Мещерский будет в нем участвовать. Не могу передать теперь, что происходило во мне в то время в ожидании спектакля. Я уже создавал себе мысленно игру его, и она представлялась мне колоссальною. "Нет, — думал я, — игра его должна быть уже не нашей чета; потому что он не только живал в Москве и Петербурге, но бывал в Вене, Париже и Лондоне. Да мало того, он играл и во дворце императрицы Екатерины! Стало быть, какова же должна быть его игра!" Все это волновало меня ужасно до самого спектакля. Но вот я в театре, вот оркестр заиграл симфонию, вот поднялся занавес, и передо мною князь… но нет! это не князь, а Салидар скупой! Так страшно изменилась вся фигура князя: исчезло благородное выражение его лица, и скупость скареда резко выразилась на нем. Но что же! Несмотря на это страшное изменение, мне показалось, что князь играть совсем не умеет. У, как я торжествовал в этот миг, думая: "Вот оно! Оттого что вельможа, так и хорошо! И что это за игра? руками действовать не умеет, а говорит… смешно сказать! — говорит просто, ну так, как все говорят. Да что же это за игра? Нет! далеко вашему сиятельству до нас!" Одним словом, все, игравшие с ним, казались мне лучше его, потому что играли, а особенно игравший Скапина. Он говорил с такою быстротою и махал так сильно руками, как любой самый лучший настоящий актер. Князь же все продолжал по-прежнему; только странно, что, несмотря на простоту его игры, что я считал неуменьем играть, в продолжение всей роли, где только шло дело о деньгах, вам видно было, что это касалось самого больного места души его, и в этот миг вы забывали всех актеров. Страх смерти и боязнь расстаться с деньгами были поразительно верны и ужасны в игре князя, и простота, с которою он говорил, нисколько не мешала его игре. Чем далее шла пьеса, тем больше я увлекался и, наконец, даже усомнился, что чуть ли не было бы хуже, если б он играл по-нашему. Словом, действительность овладела мною и не выпустила меня уже до окончания спектакля: кроме князя, я никого уже не видал; я, так сказать, прирос к нему. Его страдания, его звуки отзывались в душе моей; каждое слово его своею естественностью приводило меня в восторг и вместе с тем терзало меня. В сцене, где открылся обман и Салидар узнал, что фальшивым образом выманили у него завещание, я испугался за князя; я думал, что он умрет, ибо при такой сильной любви к деньгам, какую князь имел к ним в Салидаре, невозможно было, потеряв их, жить ни минуты.

Пьеса кончилась. Все были в восторге, все хохотали, а я заливался слезами, что всегда было со мною от сильных потрясений. Все это мне казалось сном, и все в голове моей перепуталось: "И нехорошо-то князь говорит, — думал я, — потому что говорит просто"; а потом мне казалось, что именно это-то и прекрасно, что он говорит просто: он не играет, а живет. Сколько фраз и слов осталось в моей памяти, сказанных им просто, но с силой страсти; я уже считал их своими, потому что думал, что могу сказать их так же, как он. И как мне было досадно на самого себя: как я не догадался прежде, что то-то и хорошо, что естественно и просто! И думал про себя: "Постой же, теперь я удивлю в Курске, на сцене! Ведь им, моим товарищам, и в голову не придет играть просто, а я тут-то и отличусь". Чтоб больше сдружиться с естественностию игры князя в комедии Сумарокова, не охладеть и не утратить слышанного, я тут же выпросил эту комедию переписать и переписал ее, не вставая с места. Из Юноковки я поехал в деревню к своим и всю дорогу не выпускал пьесы из рук; по приваде, через сутки, я знал уже всю комедию на память. Но каково же было мое удивление, когда я вздумал говорить просто и не мог сказать естественно, непринужденно ни одного слова. Я начал припоминать князя, стал произносить фразы таким голосом, как он, и чувствовал, что хотя и говорил точно так, как он, но в то же время не мог не замечать всей неестественности моей речи; а отчего это выходило — никак не мог понять. Несколько дней сряду я уходил в рощу и там с деревьями играл всю комедию, но тут же понимал, что играл так же, как и прежде, а уловить простоту и естественность, какими обладал князь, не мог. Все это приводило меня в отчаяние. Мне никак не приходило в голову, что для того, чтоб быть естественным, прежде всего должно говорить своими звуками и чувствовать по-своему, а не передражнивать князя. После долгих трудов я упал духом и пришел к такой мысли, что мне никогда не достигнуть простоты в игре. Я было отказался от своих напрасных трудов, но мысль об естественной игре уже заронилась в моей голове, и когда к зиме я приехал в Курск и начались спектакли, то эта мысль ни на минуту меня не оставляла, и, невзирая на все неудачи, я опять старался искать естественности. Долго-долго она мне не давалась, но случай помог мне, и тогда уже твердою ногой пошел я по этой дороге, хотя привычки старой игры много и долго мне вредили.

Случай этот состоял вот в чем. Как-то была репетиция мольеровской комедии "Школа мужей", где я играл Сганареля. Так как ее много репетировали и это мне наскучило, да и голова моя была занята в то время какими-то пустяками, то я вел репетицию, как говорится, неглиже: не играл, а только говорил, что следовало по роли (роли мои я учил всегда твердо), и говорил обыкновенным своим голосом. И что же? Я почувствовал, что сказал несколько слов просто, и так просто, что если б не по пьесе, а в жизни мне пришлось говорить эту фразу, то сказал бы ее точно так же. И всякий раз, как только мне удавалось сказать таким образом, я чувствовал наслаждение, и так мне было хорошо, что к концу пьесы я уже начал стараться сохранить этот тон разговора. И тогда все пошло навыворот: чем больше я старался, тем выходило хуже, потому что переходил опять в обыкновенную свою игру, которой уже не удовлетворялся, так как втайне смотрел на искусство другими глазами. Да, втайне! Если бы я высказал зародившуюся во мне мысль, то меня бы все осмеяли. Эта мысль была так противоположна господствовавшему мнению, что товарищи мои к концу пьесы осыпали меня похвалами, потому что я старанием попал в общую колею и играл так же, как и все актеры, и даже, по мнению некоторых, лучше всех. Припомню, сколько могу, в чем состояло, по тогдашним понятиям, превосходство игры: его видели в том, когда никто не говорил своим голосом, когда игра состояла из крайне изуродованной декламации, слова произносились как можно громче, и почти каждое слово сопровождалось жестами. Особенно в ролях любовника декламировали так страстно, что вспомнить смешно; слова любовь, страсть, измена выкрикивались так громко, как только доставало силы в человеке; но игра физиономии не помогала актеру: она оставалась в том же натянутом, неестественном положении, в каком являлась на сцену. Или еще: когда, например, актер оканчивал какой-нибудь сильный монолог, после которого должен был уходить, то принято было в то время за правило поднимать правую руку вверх и таким образом удаляться со сцены. Кстати, по этому случаю я вспомнил об одном из своих товарищей: однажды он, окончивши тираду и удаляясь со сцены, забыл поднять вверх руку. Что же? На половине дороги он решился поправить свою ошибку и торжественно поднял эту заветную руку. И это все доставляло зрителям удовольствие! Не могу пересказать всех нелепостей, какие тогда существовали на сцене, — это скучно и бесполезно. Между прочим, во всех нелепостях всегда проглядывало желание возвысить искусство: так, например, актер на сцене, говоря с другим лицом и чувствуя, что ему предстоит сказать блестящую фразу, бросал того, с кем говорил, выступал вперед на авансцену и обращался уже не к действующему лицу, а дарил публику этой фразой; а публика, со своей стороны, за такой сюрприз аплодировала неистово. Вот чем был театр в провинции сорок лет назад и вот чем можно было удовлетворить публику. В это-то время князь Мещерский, без желания, указал мне другой путь. Все, что я приобрел впоследствии, все, что из меня вышло, всем этим я обязан ему; потому что он первый посеял во мне верное понятие об искусстве и показал мне, что искусство настолько высоко, насколько близко к природе. К этому рассказу мне остается только прибавить, что по прошествии пятнадцати лет я узнал уже в Москве от покойного князя А. А. Шаховского, что этим не я один был одолжен князю Мещерскому, а весь театр русский; потому что князь Мещерский первый в России заговорил на сцене просто, тогда как вся прежняя школа, школа Дмитревского, состояла из чтецов и декламаторов. И еще узнал я от князя Шаховского, что Дмитревский не расположен был к князю Мещерскому за это введение простоты и естественности, особенно когда они начали увлекать публику и приобретать много последователей.

VII.

1816-й год. Представление "Дон Жуана" в Харькове

1816 год, в начале, был для меня самый горестный по разным обстоятельствам; но горе мое стало для меня еще тяжеле, когда я узнал, что театр в Курске расстроился. Дом Благородного собрания, в котором помещалась и сцена, начали переделывать, и, как слышно было, переделка не могла кончиться ближе двух лет; следовательно, спектаклей давать было негде, а выстроить театр содержатели были не в состоянии. Я был совершенно уничтожен: переехал в деревню, где с горя прочитал историю Ролленя, в переводе Тредьяковского, от доски до доски. В исходе июля вдруг получаю письмо от одного из бывших содержателей, именно от П.Е. Барсова. Он извещал меня, что получил приглашение из Харькова от Штейна, который просил его пригласить еще кого-нибудь для ролей комических, почему он обращается с этим приглашением ко мне, и что если я согласен, то отпросился бы и приехал в Курск, чтобы потом отправиться в Харьков: "Там, мол, можно кой-что и заработать". Высказать мою радость я не в силах. Мысль, что я буду играть в Харькове, приводила меня в восторг. Я знал, что в Харькове театр давнишний и что на нем играют все, к тому же там университет, поэтому публика должна быть образованнее, следовательно, и требования от актеров гораздо большие. Это последнее обстоятельство, при всей моей радости, внушило мне и некоторое чувство страха, — словом, я начал было робеть. Потом вспомнил, что из харьковской труппы у нас уже был налицо актер Мурашкин, который с неба звезд не хватал; кроме того, я видел лучшего харьковского драматического актера, г-на Геца, который проездом играл в Курске "Сына любви"; в нем было много хорошего, но вообще он был ниже нашего М.Е. Барсова. Сообразив все это, я немного приободрился и, разумеется, не теряя времени, отпросился у графини Волькенштейн, с маленькою гордостью объяснив ей, что меня приглашают на харьковскую сцену. Она отпустила меня и шутя прибавила: "Смотри, не срамись!" Сборы были небольшие. Отцу и матери было лестно, что изо всей труппы Барсов пригласил меня и никого другого: стало быть, я что-нибудь да значу. Даже жене, несмотря на разлуку, такое приглашение было не неприятно. Итак, поцеловав у родителей ручки и получив от них напутственное благословение с прибавкою двух рублей медными деньгами, перецеловав жену и детей, в первых числах августа отправился я в Курск, чтобы оттуда уже вместе с Барсовым ехать в Харьков. Не буду рассказывать, как я приехал в Курск, как вскоре потом отправились мы с Барсовым на долгих в Харьков — все это было весьма обыкновенно, без всяких особых происшествий. В Харьков мы приехали 15 августа, часов около десяти утра; остановились в квартире актера Угарова, с которым Барсов уже был знаком и с которым он уже списался. Самого Угарова мы не застали дома: он ушел на репетицию комедии "Дон Жуан" Мольера. Все это узнали мы от жены Угарова, очень милой и чрезвычайно красивой женщины, которая приняла нас как нельзя более радушно, отвела нам комнату, напоила чаем и кофеем, уговаривала отдохнуть с дороги, и Барсов был почти готов на это; но меня мучил "Дон Жуан". Мольер был мною почти весь прочитан, хотя на нашем театре игралось из него не более трех пьес. "Дон Жуана" играть у нас не могли, потому что на нашей сцене не было ни провалов, ни полетов, а в этой пьесе являются фурии и уносят Дон Жуана. Все это интересовало и волновало меня, и я неотступно пристал к Барсову идти в театр — застать репетицию. Барсов нехотя согласился. Одевшись прилично (я в свой единственный черный фрак, а товарищ мой и подрумянился немного: он был кокетлив), отправились мы в театр. Подходя к театру, я совсем разочаровался: я представлял себе, что в таком городе, как Харьков, театр — красивое здание, а вместо того увидел какой-то бревенчатый балаган. Когда мы взошли на сцену по полуразрушенной лестнице, то сначала в темноте ничего не было видно; потом, оглядевшись немного, Барсов, знакомый уже прежде с содержателями театра (их было два: Штейн -немец и Калиновский — поляк), представил меня им как лучшего из своих товарищей. Здесь же он познакомил меня с хозяином нашей квартиры, актером Угаровым, первым комиком харьковской сцены. Угаров был существо замечательное, талант огромный. Добросовестно могу сказать, что выше его талантом я и теперь никого не вижу. Естественность, веселость, живость, при удивительных средствах, поражали вас, и, к сожалению, все это направлено было бог знает как, все игралось на авось! Но если случайно ему удавалось попадать верно на какой-нибудь характер, то выше этого, как мне кажется, человек ничего себе создать не может. К несчастию, это было весьма редко, потому что мышление было для него делом посторонним, но за всем тем он увлекал публику своею жизнью и веселостью. Как в человеке, в нем все было премешано; в каком-то странном беспорядке стояли рядом добродушие и плутоватость, театр и карты, и охота покутить. Все это было в нем смешано до такой степени, что не знаешь, бывало, чему он отдавал преимущество. Хороший семьянин, а для последних двух страстей он готов был оставить семейство без куска хлеба. Но оставим его — я не могу высказать и половины того, что было в этой замечательной личности. Прибавлю только, что потом, несмотря на все его недостатки, я всегда любил его как человека и уважал как талант. В своих записках я часто буду еще обращаться к Угарову и передам о нем все, что знаю.

Когда нас познакомили, он тотчас взял меня за руку и подвел к жене Калиновского с такими словами: "Анна Ивановна Кали-новская, первая наша актриса — с огнем баба!" Между тем артисты начали опять прерванную нашим приходом репетицию. Дон Жуана играл Калиновский, а Лепорелло — Угаров. Когда я начал вслушиваться в разговор действующих лиц, то чрезвычайно смутился: я знал Мольерова "Дон Жуана"; но это был не тот, а другой, и точно другой. Этот "Дон Жуан" был переведен с польского г. Петровским, который, как видно, не знал хорошо русского языка; перевод этот был такая галиматья, что я не мог понять, как можно было играть подобную пьесу в университетском городе, как Харьков. К довершению всего Калиновский говорил польским выговором, как, например, чего и т. п. Обо всем этом я не сказал ни слова из скромности. Но я не мог утерпеть, чтоб не спросить Калиновского, как у Них устроена последняя сцена, где являются фурии. Он отвечал мне: "Теперь эта сцена будет не так эффектна, как прежде. Прежде делалась чистая перемена, и декорация представляла ад: фурии выбегали, вылетали, выскакивали из земли и увлекали Дон Жуана. Теперь же этого не будет, потому что декорацию, представлявшую ад, как везли из Кременчуга, смыло дождем, и теперь просто фурия слетит сверху, схватит Дон Жуана и унесет". — "А! — подумал я, — здесь, стало быть, есть и машины", и пошел осматривать сцену; но, к моему удивлению, я ничего не заметил, кроме балок, чистосердечно лежавших поперек сцены. Мне совестно было спросить и обнаружить таким образом свое невежество, тем более что, учившись в народном училище, я ознакомился несколько с механикою, по крайней мере знал силу рычага, пользу блока и действие ворота; но здесь ничего подобного не было видно. С нетерпением жду я конца репетиции, полагая, что будут пробовать полет, — не тут-то было! Репетиция кончилась, и когда я спросил: "Не будут ли пробовать полета?" — то Калиновский отвечал: "Нет! эта машина хорошо устроена, и пробовать нечего". И мне стало стыдно, что я не мог отыскать этой машины.

Обедать мы приглашены были к Калиновскому. Не буду рассказывать всех любезностей хозяйки и всех острот Угарова. К концу обеда вошел очень высокий мужчина, в длинном синем сюртуке, подпоясанном кушаком, с волосами в скобку, но с бритою бородой, и сказал, обратясь к Калиновскому: "Пожалуйте, Осип Иванович, денег за машину". Меня так и взволновало. "Что за машина?" — спросил я. "А это Дон Жуана поднимать",- отвечали мне.

Я попросил позволения посмотреть машину. "Принеси",- сказал Калиновский длинному сюртуку, который, как я после узнал, был главным машинистом. Он вышел и скоро возвратился, принеся с собою два толстых ремня немного потоньше тех, которые употребляются для рессор в дрожках. Оба ремня были с железными толстыми пряжками. У одного из них посредине пришит был дратвами железный крючок значительной толщины, а у другого пришито было такой же прочности железное кольцо. Не понял я механизма и спрашиваю: "Что же из этого будет?" Тогда Калиновский берет ремень с крюком, стягивает его на себе пряжкой, которая пришлась назади, крючок же очутился напереди. "А вот что, — говорит он, — этим поясом подпояшется фурия, у нее крючок напереди, а Дон Жуан подпояшется другим поясом, у которого кольцо будет назади. Таким образом, фурия, спустясь сверху, обхватит одною рукой Дон Жуана, а другою наденет кольцо на крючок и унесет его". Да, — подумал я, — стало быть, я не рассмотрел; верно, есть где-нибудь и ворот и блоки, — и еще более убедился в этом, когда машинист сказал: "Пожалуйте, Осип Иванович, еще денег на канат, а то старый сгнил совершенно". При выдаче денег Калиновский прибавил: "Да не забудь выкрасить канат черною краской, чтоб не так было приметно".

С ужасным нетерпением я ожидал вечера, чтоб идти в театр; механизм сводил меня с ума. Наконец, около семи часов мы пришли в театр. Я тотчас бросился на сцену рассмотреть все хорошенько и отыскать машину. По тщательном осмотре я нашел кое-что, а именно: от второй до третьей кулисы, посредине сцены положено было с балки на балку круглое бревно, и на этом бревне торчали два огромных гвоздя, вершка на полтора один от другого. Кроме того, точно такое же бревно, на тех же балках и с такими же гвоздями, положено было за кулисами. Всего этого прежде не было. Я отыскал длинный сюртук и спросил его: для чего положены эти бревна? А он мне в ответ: "Это машина — подымать Дон Жуана". — "Как же это? Расскажи, пожалуйста", — сказал я. — "А вот, изволите видеть, эти два гвоздя на этом бревне, за кулисами? Между них пропустится веревка и протянется до половины сцены, где лежит вот другое бревно, и пропустится также между двумя гвоздями. Изволите видеть? А там фурия будет сидеть на балке, и веревка эта привяжется ей сзади, и когда фурия будет спускаться, то гвозди не дадут веревке сдвигаться, и фурия спустится прямо". — "Как же? воротом будут подымать?"- спросил я. "Нет, — отвечал длинный сюртук, — просто на руках". — "Да ведь это очень тяжело", — говорю я. "Да ведь здесь, — прибавил он, — за кулисами народу будет много, а к тому же мы веревку намажем салом: оно будет полегче". Покачал я головой и пошел в кресла. Начался спектакль. Угаров приводил всех в восторг, да и к Калиновскому публика, как видно, привыкла, так что, несмотря на его выговор, много раз одобряла. Перед пятым актом я не утерпел, пошел на сцену и увидел, что фурия уже сидела на балке, а человек с десять стояли за кулисами и держались за веревку. "Кто это, — спросил я, — одет фурией?" — "Это мой помощник Миньев",- отвечал механик. Я возвратился в кресла и ждал окончания пьесы. Наконец дождался: Дон Жуан в отчаянии призывает фурий! И вот посреди театра из падуги показывается пара красных сапог, потом белая юбка с блестками, а наконец является и вся фигура фурии. Костюма фурии подробно передать я не в состоянии: какой-то шарф перекинут через плечо, на голове какой-то венец с рогами. Но это все ничего, а вот что было изумительно: как только фурия отделилась совсем от балки и повисла на веревке, то новая веревка от тяжести стала вытягиваться и раскручиваться, и так как фурию спускали медленно, то она, прежде чем стать на ноги, перевернулась раз двенадцать, отчего голова у ней, разумеется, закружилась (выпила она для храбрости тоже порядочно). Ставши на пол, фурия ничего не видит; одною \'рукой держит крючок, а другою, размахивая, ищет Дон Жуана, но ищет совсем в другой стороне. Калиновский в бешенстве забывает, что это на сцене, и кричит громко: "Гунство! сюда! сюда!" Наконец, фурия ощупывает кое-как Дон Жуана, обхватывает его одною рукою, а другою старается поддеть кольцо на крючок… но никак не подденет. Калиновский в совершенном отчаянии, желая помочь горю, протягивает назад руку, берет свое кольцо, а между тем бранные слова сыплются на фурию; но ничто не помогает, и фурия никак не может сцепиться с Дон Жуаном. Всему этому аккомпанирует шум в публике: тут было и шиканье, и смех, и громогласное браво. Все это было для меня что-то неслыханное и невиданное и потрясло меня до основания. Я выбежал из кресел, бросился на сцену, вырвал у механика веревку и опустил занавес. И надо было видеть, с каким остервенением Дон Жуан начал терзать фурию за волосы… Тем и кончилось представление "Дон Жуана".

VIII.

Прошлые нравы

В 1801-м году меня, как я говорил уже прежде, перевезли из Суджи в Курск и отдали в народное училище. С тех пор я начал знакомиться со всеми слоями тогдашнего общества, и когда сделался актером, то некоторый успех, приобретенный мною на этом поприще, дал мне возможность бывать во всех обществах, ибо, невзирая на то, что я все-таки был крепостной человек, меня часто приглашали к себе и купечество и служащие по разным присутственным местам. Дворянский быт я знал уже довольно хорошо по нашим гостиным, потому что меня как ловкого и умного малого часто выпрашивали для услуг у господ и в другие дома, где бывали большие обеды и бальные вечера; и во всех домах, где бывали такие собрания, мне как лучшему официанту платили против других двойную цену, то есть всем платили по 5, а мне 10 рублей. И там-то благодаря моей наблюдательности я хорошо понял дух времени того века. Жили, как говорилось, тогда весело. Так, например, зимой недоставало вечеров для балов, и потому часто делались днем: столько было открытых домов! К тому же театр, собрания, в городе было пять оркестров, — ну, кажется, чего же лучше, а со всем тем дух общества был следующий.

Была одна дама в городе, собою прекрасивая; не буду называть ее, старожилы, верно, узнают. Весь город сожалел об ее болезни, которою она, несчастная, страдала.

Болезнь ее состояла в страшной тоске, и вся медицина тогдашняя не могла найти средства облегчить ее; но случай открыл лекарство. Как-то, в самом сильном страдании, одна из крепостных ее девок принесла ей какую-то оконченную работу, весьма дурно сделанную; быв в волнении, она вместо выговора дала ей две пощечины и — странное дело! — через несколько минут почувствовала, что ей как будто сделалось получше. Она это заметила, но сначала приписала это случаю. Но на другой день тоска еще более овладела ею, и, будучи в безвыходно-страдательном положении, она, бедная, вспомнила о вчерашнем случае и, не находя другого, решилась попробовать вчерашнее лекарство. Пошла сейчас в девичью и к первой попавшейся на глаза девке придралась к чему-то и наградила ее пощечинами, и что же? — в одну минуту как рукой сняло, а потом каждый день после того начала лечиться таким образом, и общество даже заметило, что она поправляется. Однажды графиня наша высказала ей свою радость, видя ее в гораздо лучшем положении, и она в благодарность за это дружеское участие открыла ей рецепт лекарства, который так помог. И как графиня была в чахотке и у ней часто бывала тоска, то дама эта советовала ей употреблять то же лекарство, говоря, что оно очень поможет; но наша ей в ответ на это сказала: "Милая, я во всю жизнь щелчком никого не тронула, и ежели бы, боже сохрани, со мной случилось такое несчастие, то, мне кажется, я умерла бы от стыда на другой же день". И это не фраза, потому что она была добрейшее существо, хотя и были кой-какие человеческие слабости.

Не могу определить точно времени, но только однажды, когда я рисовал у графини в комнате узор с вышитого платья, вдруг приезжает больная дама, и очень расстроенная. Графиня тотчас заметила и отнеслась к ней с вопросом: "Марья Александровна! что с вами, вы так расстроены?"-и бедная больная, залившись слезами, стала жаловаться, что девка Машка хочет ее в гроб положить. "Каким образом?" — спросила графиня. — "Не могу найти случая дать ей пощечину. Уже я нарочно задавала ей и уроки тяжелые и давала ей разные поручения: все мерзавка сделает и выполнит так, что не к чему придраться… Она, правду сказать, чудная девка и по работе и по нравственности, — да за что же я, несчастная, страдаю, а ведь от пощечины бы она не умерла". Посидевши немного и высказав свое горе, она уехала, и графиня при всей своей доброте все-таки об ней сожалела. Но дня через два опять приезжает Марья Александровна веселая и как будто бы в каком-то торжестве обнимает графиню, целует, смеется и плачет от радости и, даже не дожидая вопроса от графини, сама объяснила свою радость: "Графинюшка, сегодня Машке две пощечины дала". Графиня спросила: "За что? Разве она что нашалила?" — "Нет, за ней этого не бывает. Но вы знаете, что у меня кружевная фабрика, а она кружевница; так я такой ей урок задала, что не хватит человеческой силы, чтобы его выполнить". И наша графиня, при всем участии к больной, не могла не сказать ей в ответ: "И вам это не совестно?" — "Ах, ваше сиятельство! что же мне, умереть из деликатности к холопке? А ей ведь это ничего, живехонька, как ни в чем не бывало". Такой разговор происходил в воскресенье, а во вторник, гораздо ранее назначенного времени для визитов, М[арья] А[лександровна] приезжает к графине расстроенная и почти в отчаянии и, входя на порог, даже не поздоровавшись с хозяйкой, кричит, что девка Машка непременно хочет ее уморить. Графиня спрашивает, что такое случилось. "Как же, графиня, представь себе, вчера такой же урок задала — что же?.. Значит, мерзавка не спала, не ела, а выполнила, и все это только, чтобы досадить мне. Это меня так рассердило, что я не стерпела и с досады дала ей три пощечины; спасибо, в голове нашла причину: а, мерзавка! — говорю ей, — значит, ты и третьего дня могла выполнить, а по лености и из желания сделать неприятность не выполнила; так вот же тебе! — и вместо двух дала три пощечины, а со всем тем не могу до сих пор прийти в себя… И странное дело: обыкновенное лекарство употребила, а страдания не прекращаются".

По отъезде этой дамы графиня стала сожалеть об ней; а как я и на этот раз рисовал узор в ее комнате, то не вытерпел и сказал: "Простите меня, ваше сиятельство, за смелость, что я позволю себе сказать вам: я не могу понять, как при вашей доброте вы тоже сожалеете о подобной женщине?" — "Э, милый! чем она, бедная, виновата, когда у ней болезнь такого рода". — "Извините, ваше сиятельство, что я не соглашусь с вами: какая это болезнь? Это — глупость, каприз и безотчетность в своих действиях!" На что графиня уже тоном госпожи сказала: "Еще молод! И не осуждай, не зная, что есть на свете разные болезни, в которых искусство докторов бесполезно". — "В этом я не смею спорить с вашим сиятельством; но коли доктора ей не помогают, так посоветуйте ей простое народное лекарство, основанное на пословице: клин клином выгоняют, и так пусть она своим девушкам скажет: "Милые! Если я опять когда забудусь и кому-нибудь из вас дам пощечину, то вы, наоборот, тоже отвесьте мне две пощечины". И поверьте, ваше сиятельство, как рукой снимет! Право, ваше сиятельство, посоветуйте ей". — "Э, милый! — сказала графиня, уж рассмеявшись, — как можно дать такой совет?" — "Что ж, ваше сиятельство! Это будет по пословице: рука руку моет. Ведь она же советовала вам свое лекарство от тоски, хоть вы, по упрямству своему, и не послушались ее советов, а это будет только совет за совет".

Вот был век! И во всем городе не было лица, которое посмотрело бы на этот случай с человеческой стороны; конечно, все это принадлежало времени.

Теперь бросим взгляд на другую сторону жизни тогдашнего общества.

Жили в Курске, как я уже сказал, весело, и это продолжалось до губернатора Аркадия Ивановича Нелидова, со вступления которого в управление губернией (не могу определить точно времени, когда это было, в 1808 или в 1809 году) общество начало расстраиваться и делиться на партии, так что к концу года его веселость исчезла, и если бывали какие-либо собрания дворян в одну кучу, то или по случаю чьих-либо именин, или свадеб. Прислушиваясь во всех классах общества, я услыхал один ропот на губернатора: первое — что при его средствах живет не по-губернаторски и даже, к стыду дворянства и своего звания, ездил по городу четверней, а не в шесть лошадей, и прислуги было мало, так что в царские дни, когда давал обеды, на которые, кроме должностных людей, никого не приглашал, и для такого небольшого числа посетителей приглашали для услуги людей из других домов; и даже за пятью детьми или чуть ли не за шестью ходила одна девушка Сара Ивановна; а как тут были и мальчики, которых, бедных, приучили с четырех лет самих одеваться, так что ей стоило только приготовить, что надеть. "Воля ваша, — говорили все, — это не по-дворянски!" Но главное, что возмущало все общество, это то, что он не брал взяток. "Что мне в том, — говорил всякий,- что он не берет? Зато с ним никакого дела не сделаешь". А в этом веке не было и жалобы на взятки, а был попрек от общества следующий: "Вот, говорят, был дурак — покойник такой-то: двадцать пять лет был секретарем гражданской палаты, а умер — похоронить было нечем". В самом Курске было два человека, которых имена были записаны у каждого гражданина, имеющего дела, или в святцах, или в календаре: это П.М. Торжевский и Л.С. Баканов; да в Судженском уезде было знаменитое лицо Котельников — тот самый, о котором Гоголь сказал в "Мертвых душах" несколько слов, и в том числе фразу: "Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит". Все означенные три лица считались за благороднейших людей, потому что брали и делали; а то всё служащее брало и ничего не делало. Последний был по веку удивительное лицо, хотя служба его была как бы черновая; он был всю жизнь письмоводителем при исправниках. Я как его узнал, то он выражался, что он уже на тринадцатом исправнике ездит" "Как приведут, — говорит, — с выборов нового исправника, а особливо который служил прежде в военной службе, — приступу нет, точно дикий жеребец, бьется и задом и передом, и даже кусается; а как обгладишь хорошенько, так такой в езде хороший станет, что любо-дорого!" Этот человек отличался необычной памятью, так что очень часто приезжали из других губерний спрашивать, что вот по такому делу не знает ли какого-нибудь закона, который бы был в пользу этого дела? И даже при выходе какого нового указа приезжали спрашивать: "Ну, что, Иван Васильевич, что вы скажете о новом указе?" — "Что же, ничего! Лазейки две есть". И когда где случится дело, которое подходило под смысл этого указа, то, разумеется, тотчас бежали к Ивану Васильевичу, и он указывал лазейку, за что брал условленную плату. И его всегда считали за благороднейшего человека.

При таком взгляде на вещи, разумеется, губернатор не мог нравиться обществу, и даже полиция горько сетовала на него за следующее. В то время на театре играли комедию Судовщикова "Неслыханное дело, или Честный секретарь", в которой квартальный выведен не совсем с выгодной стороны, и каждый раз, как только давалась эта пьеса, содержатель обязан был отправлять несколько билетов к полицеймейстеру, за что каждый раз и деньги были заплачены; а полицеймейстеру дан от губернатора приказ, чтобы эти билеты были раздаваемы квартальным по очереди и чтобы они были непременно в театре, а как сам губернатор всякий раз бывал в театре, то и мог видеть, исполняется ли его распоряжение. В этой комедии есть следующая сцена: квартальный, из дворян, у председателя, который жаловался, что он нездоров, выразился: "Отчего вы, ваше высокородие, не пригласите докторов?" — "Ох, боюсь я французов и немцев!" Квартальный говорит: "Коль в страхе вы себя французу поручить, У нас есть буточник, ужасно зол лечить.

Председатель.

Да разве медике ваш буточник учился?

Квартальный.

Нет-с, прежде в конюхах придворных находился.

А там какой-то был из немцев коновал,

Всю хиромантию и докторство он знал.

Там этот вкруг него всегда почти вертелся,

И медицины он препропасть насмотрелся.

Припарку ли сварить, проносное ли дать -

Все знает, и он мне старался помогать.

(Показывает на подбитый глаз.)

Председатель

А это что?

Квартальный.

За храбрость дали звезду.

(Смеясь.)

Третьего дня я был в театре у разъезду,

Так кучер там задел по роже кулаком.

Председатель.

И ты не возымел претензию о том?

Квартальный.

Ну, где мне с ним тягаться?

Тебя же обвинят. Ну, как, дескать, связаться

Тебе да с кучером, — да это нам пустяк,

Случается, что нас колотят и не так.

Председатель.

Да, должность такова, тут нечего дивиться,

Зато в другой статье ущерб вознаградится.

(Указывая на карман. Оба смеются, а квартальный, смеясь, кланяется председателю с видимым почтением)".

Весь город сожалел о бедных квартальных, которые самим начальством публично были выставляемы как бы на поругание.

Вот был дух времени общества, с 1801 до 1816 года! Но, к сожалению, это было не в одном Курске. В 1816 году я уже расстался с Курском навсегда, и первый дебют был в Харькове, где скоро увидал все то же, и в доказательство тому служит повесть графа Соллогуба "Собачка". Она писана из моего рассказа, и все было в действительности так, как описано, и автором даже еще много смягчено.

Вот было время! Благодаря богу, мы настолько уж выросли, что теперь сами стыдимся тогдашнего образа мыслей, а потому и Курску в настоящее время нечего оскорбляться за высказанную истину.

Мои записки будут иметь одно достоинство — истину. Я ничего не солгу, а записываю только то, что было в действительности.

IX.

Доброе старое время

Многое, виденное мною в жизни, я не записывал, но время, этот великий учитель, указал мне необходимость передать людям многое, чему я был свидетелем: оно будет дорисовывать тот век и образ мыслей людей тогдашнего времени.

Следующий рассказ я вспомнил по случайной причине: года три тому назад я был в одном доме вместе с генералом Александром Дмитриевичем Чертковым, который давно меня знал и всегда, так сказать, дарил меня своим вниманием. Завязался разговор о настоящем времени, о том движении, которое зашевелилось во всех слоях общества. Многое он одобрял, против многого восставал, а я, с своей стороны, сказал ему, что переходное состояние всегда было таково: пред нами прошедшие семь тысяч лет, из которых ясно видно, что народы не годами растут, а веками. Слава богу и то, что мы доросли до мысли и не стыдимся уже сознавать, что у нас есть много дурного; а молодое наше поколение воспользуется прошедшими ошибками и найдет лекарство. "Поверьте,- сказал я,- все идет к лучшему. Ах, да! читали вы, Александр Дмитриевич, стихи "К молодому поколению" Щербины?" Он отвечал: "Нет". — "Не угодно ли, я их прочту?" Когда я прочел, он сказал: "Да, хороши; жаль только, что это фразы и нейдут к нынешнему молодому поколению, потому что современное молодое поколение — дрянь; в наше время было не то, наше поколение было не нынешнему чета". Такие речи меня решительно ошеломили и взволновали так, что я, стараясь затушить внутреннее волнение, сказал весьма тихо: "Ваше превосходительство поставили меня в тяжелое положение; оспаривать ваше мнение при вашем чине — неловко, а согласиться с вашими словами в мои годы будет бессовестно. Всмотритесь в меня, генерал, я не моложе вас, а русскую жизнь едва ли знаю не лучше вас; вы ее знаете от дворца и до ваших гостиных, а я ее знаю от дворца до лакейской. У вас не было жизненного толчка, который бы заставил вас поглубже заглянуть в настоящую жизнь, но моя дорога жизни не была так выровнена обстоятельствами, как ваша, да и самый род моего искусства заставлял меня поглубже вникать во все слои общества; потому я и не мог вынести из жизни тех приятных воспоминаний, которые так живо вам представились. Нет, генерал, и в наше время было много дурного, а многое было во сто раз гаже; но мы-то с вами тогда не доросли еще до того, чтобы понимать это". Тут я сам почувствовал, что выразился уже немножко резко, и прибавил: "Простите меня, генерал, за мою горькую истину: что делать, я мало жил в вашем кругу и потому не приучился золотить истину и передаю ее во всей наготе; а чтобы убедить вас, что это с моей стороны не заносчивая выходка, но истина, прошу вас выслушать, если не поскучаете, рассказ о случае, которого я был свидетелем и над которым все современное нам с вами, генерал, поколение хохотало тогда, а у вас от моего рассказа последние волосы станут дыбом".

— Пожалуйста, расскажи, что за случай, — отвечал он.

— В 1802 году, как видно из моих прежних рассказов, я находился в народном училище, и так как я, будучи крепостным, имел дерзость быть первым учеником, то весь город знал меня и называл не иначе, как милый Миша, умный Миша; меня даже гладили по головке и ласково трепали по пухлым щекам. Хотя лет мне было немного, однако я был уже тогда официантом. В это время в Курске стоял полк; командир этого полка, князь Иван Григорьевич Вяземский, был с нашим господином в коротких отношениях, а потому, когда летом, в день своего рождения, он вздумал для города дать обед и бал в лагере, то просил графа прислать людей для услуги. Это было в воскресенье, и я стал не ученик, а официант; на нас были возложены все хлопоты; мы отправились очень рано и, что нужно, захватили из дому. К назначенному времени все было нами приготовлено, и я вместо отдыха пошел по палаткам знакомых офицеров, которые все меня знали и ласкали; между прочим, прихожу в палатку И. Ф.Боголюбова, где находилось еще несколько офицеров, и слышу спор: И. Боголюбов держит на 500 руб. пари с другим офицером, что у него в роте солдат Степанов выдержит тысячу палок и не упадет. Это меня чрезвычайно поразило, тем более что мы знали И. Боголюбова как благородного человека; но вот каково было наше хваленое время. Я, сознаюсь, старался скрыть мое волнение, боясь быть уличенным в такой слабости. Между тем послали за солдатом, и вот явился мужчина вершков восьми, широкоплечий и порядочно костистый. Боголюбов нестрогим голосом, а так, будто дружески, предлагает ему следующее: "Степанов! синенькую и штоф водки — выдержишь тысячу палок?" — "Ради стараться, ваше благородие!" Мне казалось, что я обезумел; я незаметно вышел из палатки. Степанов тоже вскоре вышел оттуда, и, когда он проходил мимо меня, я не утерпел и сказал: "Как же ты, братец, на это согласился?" В ответ на это он просто объяснил задачу: "Эх, парнюга, все равно даром дадут!" — махнул рукой и пошел как ни в чем не бывало. Желчь разлилась во мне, и я пошел в палатку князя, где уже было много гостей. Как балованный всеми мальчик, я хожу по палатке и смеюсь, но это был желчный смех… Князь, погладив меня по головке, спросил: "Чему ты, милый Миша, смеешься?" — "Меня, ваше сиятельство, рассмешили ваши офицеры". Тут я рассказал ему забавную шутку и их пари, и, поверите ли, все это принято обществом с хохотом, а некоторые даже повторяли: "Ах, какие милые шалуны!" А другие отзывались: "А! каков русский солдат? Молодец!" Кажется, одно только существо посмотрело на этот случай человечески. Это Александра Абрамовна Анненкова, которая сказала князю: "Князь, пожалуйста, хоть для своего рождения не прикажи; право, жалко, все-таки человек!" Тогда князь, обратясь ко мне, сказал: "Миша, поди, позови сюда шалунов". Я исполнил, и, когда они вошли, князь сказал им: "Что вы, шалуны, там затеяли какое-то пари? ну, вот дамы просят оставить это; надеюсь, что просьба дам будет уважена". Вот, генерал, наше хваленое время!

— Но один частный случай не обрисовывает всего общества,- отвечал он.

— Ну, так вот вам другой, бывший гораздо позднее. Когда кончилась кампания 12 года, ополченные возвратились домой, а крепостные к своим господам; за тех, которые не возвратились, правительство выдало рекрутские квитанции, и одна дама, очень образованная по времени и обществу (даже крепостные отзывались о ней, как о доброй женщине), у графини на именинах, за обедом, не краснея, позволила себе сказать в разговоре о прошедшей кампании: "Вообразите, какое счастие Ивану Васильевичу: он отдавал в ополчение девять человек, а возвратился всего один, так что он получил восемь рекрутских квитанций и все продал по три тысячи, а я отдавала двадцать шесть человек, и, на мою беду, все возвратились — такое несчастие!" При этих словах ни на одном лице не показалось даже признака неудовольствия против говорившей. Все согласились, а некоторые даже прибавили: "Да, такое счастие, какое бог дает Ивану Васильевичу, немногим дается".

Тут кто-то приехал из гостей, и разговор наш кончился. Во всем этом разговоре нет ни слова лжи, а святая истина, и я счел обязанностию занести его в мои записки.

X.

Актриса Сорокина

В 1831 году директор М.Н. Загоскин вздумал поручить мне драматический класс в школе. Не чувствуя себя совершенно способным, я поблагодарил его за это предложение и тут же сознался, что не чувствую себя способным для такого, по моему мнению, весьма важного дела, тем более что я плохой декламатор. На это Загоскин отвечал: "В сторону всякую скромность! Скажи: кто же в настоящее время опытнее тебя? К тому же вся твоя обязанность будет приходить в школу и из находящихся там детей ставить спектакли, чтобы воспитанники знакомились со сценой и искусством, а это мне даст возможность прибавить к получаемому тобой жалованью 2000 руб. ассигнациями, что при твоем многочисленном семействе будет не лишнее". И точно, семейство мое состояло тогда из двадцати четырех человек. После таких убедительных доводов я, разумеется, согласился. "Прикажите же, — сказал я,- назначить часы, когда я должен буду являться в школу". — "Нет, милый, этого назначить я не могу, а ты иногда заходи в школу и, когда дети не заняты, в то время и займись ими". Приняв на себя обязанности такого рода и привыкнув исправлять все свои обязанности добросовестно, я редкий день не бывал в школе: даже и в те дни, в которые играл, я заходил туда до или после репетиции. Скоро я покороче познакомился со всеми детьми. Так как часто бывало, что режиссер, по случаю какой-либо перемены или чьей-либо болезни, присылал в школу роли для отдачи воспитаннику или воспитаннице, то я просил его присылать роли прямо ко мне, а я уже сам укажу, кому их отдать. Присылаемые роли я раздавал кому следует, разумеется, соображаясь со средствами; дети заметили, что я никого не миную и раздаю роли совершенно справедливо: это приобрело мне их любовь, и мы жили дружно, учились понемногу, но с толком.

Однажды я играл, не помню, в какой пьесе, в которой одна роль была отдана выпущенной из школы уже около полугода девице Сорокиной. Роль ее была небольшая, но она поразила меня своим гармоническим голосом; притом каждое ее слово было от сердца. Собой она не была красавица, но у ней была красота молодости, прекрасные формы и чрезвычайно выразительное, говорящее лицо, так что я не утерпел и после спектакля спросил у ней: почему она, бывши в школе, не хлопотала, чтобы играть в спектаклях? "Эх, Михаил Семенович, кому было обо мне хлопотать? — отвечала она. — Сама же я так робка и так недоверчива к себе, что ничего в себе не находила, потому и не решалась просить роли. Благодаря нашему учителю Н. И. Надеждину я смотрела на драматическое искусство, как на что-то великое и для меня не достижимое". — "Ну, а я все-таки поговорю с режиссером, чтоб он обратил на вас внимание". Потом мне странно казалось, что она шесть месяцев как выпущена из школы, а одевается хотя чисто, но бедно. Конечно, ее выпустили на 250 руб. ассигнациями жалованья; однако ж многие ее товарки, получая такое жалованье, уже щеголяли в шелку и бархате, а она не выходила из холстинного платья. Разумеется, "я сказал о ней режиссеру и полагал, что с моей стороны все сделано, а потом занятия по сцене и по школе отвлекли мое внимание, и под конец я совершенно забыл о ней. Как-то месяцев через шесть прислали роль в школу, и когда я взглянул на нее, тотчас вспомнил о Сорокиной; тогда же отправился в театр и говорю: "За что же взяли роль у Сорокиной?" Режиссер отвечает мне, что роль передана по ее болезни. "Это дело другое, а впрочем, может быть, она скоро оправится". Режиссер говорит мне, смеясь: "Конечно, оправится, только не так скоро; попросту сказать — она беременна". Это так обыкновенно было на нашей сцене, что я махнул рукой и сказал: "Ну, бог с ней, а жаль, девушка славная". Я даже не спросил, кого она любит. Потом через несколько времени она опять показалась, но какая-то грустная, очень похуделая и все в холстинных платьях. Не могу определить времени — через год, а может быть, и более, — приходит на репетицию в театр служащий у коменданта г. Д. Он был из числа коротких знакомых директору театра: подобные лица допускались по воле директора, и он очень часто бывал в антрактах на сцене вместе с директором. Мы все хорошо его знали. По окончании репетиции он подходит ко мне и говорит: "Ведь сегодня вы свободны, подарите мне несколько времени, у меня к вам есть серьезная просьба; а этой просьбе предшествовало многое, с чем я должен вас прежде познакомить. Тогда вы вполне поймете всю важность моей просьбы. Поедемте без церемонии в гостиницу, возьмем особенную комнату, пообедаем там, и я буду иметь время рассказать вам все". Не находя причины отказать, я изъявил свое согласие. "Позвольте мне только распорядиться, — сказал я, — сказать дома, чтобы меня не ждали обедать: семейному человеку нельзя без этого".

Мы отправились в Троицкий трактир, где заняли наверху свободную комнату и велели давать обедать. За обедом Д. спросил меня, знаю ли я, что он близок с Сорокиной и что эта любовь продолжается года полтора. Я заметил, что по болезни Сорокиной знал а ее отношениях к кому-то и что если этот кто-то — он, то пусть не погневается. Тут я упрекнул его в скупости: как же девица до сих пор не выходит из холстинных платьев? — "Благодарю вас, Михаил Семенович, за ваш выговор, он-то меня и оправдывает перед нею, хотя я совершенно виноват без оправдания. Я вам сейчас расскажу все подробно, а вы пособите вашим советом, как бы мне достигнуть цели. Вот в чем дело: по дружеским отношениям с директором, я каждый день был за кулисами и еще за год до ее выпуска как-то обратил на нее внимание и, к моему удивлению, нашел в ней то, чего не замечал ни у кого из ее подруг — светлый ум, теплое сердце; желая найти развлечение в будущем, я почти ни с кем, кроме нее, не разговаривал. Это произвело на нее сильное впечатление, и она всей душой привязывалась ко мне все более и более; мне, признаюсь, это было приятно. Хотя я сам и не платил ей тем же, но она в пылу страсти ничего не видела и о простых светски-любезных речах думала, что все они от сердца. Наконец ее выпустили, как вы знаете, на 250 руб. ассигнациями жалованья. Я, человек со средствами, могу обеспечить ее и со временем с приличным приданым выдать замуж, почему и решился продолжать атаку. Вскоре по выпуске она играла в какой-то пьесе, и я спросил ее в антракте, играет ли она до конца пьесы. "Нет, — отвечала Сорокина, — я кончила, но меня одну не повезут, надо дождаться окончания спектакля". — "Так не хочешь ли, я довезу тебя[2] и кстати узнаю твою квартиру: надеюсь, ты позволишь мне навестить тебя". Она вспыхнула и проговорила: "Да как же, ведь это заметят, пойдут сплетни. Уж и так, оттого только, что вы со мной ласково обходитесь, сколько об этом сплетней!" — "Если ты не желаешь, чтобы нас видели, выходи за угол театра, а я буду там с экипажем". И в то же время я взял ее за руку, которая была вся в огне и дрожала; она сжала мне руку, почти задыхаясь проговорила: "Хорошо!" — и тотчас же ушла. Я, разумеется, не замедлил распорядиться экипажем. Она явилась; я посадил ее в экипаж и, не спрося об ее квартире, велел ехать: кучер уже знал куда. Она была в таком волнении, что, когда приехали, она не обратила внимания, куда ее привезли. Когда мы вошли в комнату, она была в каком-то беспамятстве, только глаза, обращенные ко мне, горели страшно… Потом, признаюсь, мне сделалось совестно, перед ней, и я хотел избытком ласк привести ее в себя, но ничто не помогало. Наконец я спросил об ее квартире, куда решился довезти ее сам. Разумеется, всю дорогу она была в том же состоянии, минутами судорожно схватывала мою руку, целовала ее, а напоследок на прощанье обняла меня и так поцеловала, что, признаюсь, не нахожу слов, чтобы выразить это движение словами. В ту же минуту залилась она горькими слезами и сквозь рыданья едва могла проговорить: "Заезжай завтра хоть на минуту, или я, право, умру". Я, разумеется, дал слово и пропустил ее в калитку, а сам отправился домой и чрезвычайно был недоволен собой и своим скверным поступком: точно я сделал какое-то воровство. Ну, думаю, чтобы поправить все это, я навезу ей таких гостинцев, каких она не ожидает, и, надеюсь, она, бог даст, забудет о своей потере. На другой день, освободившись от служебных обязанностей, я тотчас поехал на Кузнецкий мост и накупил всего, что, по-моему, было для нее понужнее. Я не жалел денег; тут все было: бархат, материя для платья, бриллианты. Я заранее утешался мыслию, какое это доставит ей удовольствие. Она встретила меня в дверях и с несказанно радостным лицом бросилась мне на шею. Через несколько минут человек мой внес в комнату корзины и разные узлы с покупками. Когда он вышел, она спросила: "Что это?" Я сказал, что это гостинец для нее и что есть еще прибавка: вынул из кармана бриллиантовую брошку и пакет с двумястами рублей. "Последнее, разумеется, на твои расходы, — сказал я, — я не хочу, чтобы ты нуждалась в чем-нибудь". И вдруг из радостного ее лица сделалось что-то страшное, смертная бледность покрыла ее розовые щеки, и она с трудом выговорила: "И это все мне? мне?" — "Да, моя милая! что ж ты так огорчилась? я хотел доставить тебе удовольствие этой безделицей". Но при этих словах из ее груди вырвался какой-то страшный стон; она зашаталась, и, если б я не поддержал ее, она упала бы на пол. Усадив ее, я старался ее успокоить. Уж я и сам не знаю, чего я ей ни говорил, но на все это ответом были рыдания. Наконец, придя в себя, она встала и, указав рукой на дверь, сказала мне: "Извольте меня оставить и унесите с собой все ваши драгоценности; я не продавала себя! Если я пожертвовала вам собою, то не из корысти; я думала, что из этой жертвы вы поймете всю силу моей любви к вам. Вы меня не поняли, я обманулась в вас, прощайте навсегда!" И с этими словами, хлопнув дверью, она выбежала.

Не берусь описать вам мое положение. Но мог ли я ожидать, что найду в этой театральной сфере такое существо, когда и в лучших слоях общества мы не встречали подобных явлений. Я, разумеется, не любил ее; но этот поступок заставил меня уважать ее, а где уважение, там и любовь. Не стану утомлять вас подробностями; скажу только, что мне было ужасно тяжело, пока мы не помирились, и она простила меня из снисхождения к моим страданиям, которые были на этот раз непритворны. Я бывал у нее каждый раз и каждый раз сам делался лучше; я уже ничего не предлагал ей, и она была счастлива в холстинных платьях; я с каждым днем более и более любил ее и все время, свободное от службы, проводил с ней, только уезжал пообедать. Раз как-то я сказал ей: "Я бы и пообедал у тебя, да тебе самой есть нечего, а если б ты позволила, я бы дал тебе денег на мои обеды". Она улыбнулась. "Обо мне не заботься, — сказала она, — я сыта! А если тебе захочется пообедать у меня, то подле меня гостиница; ты можешь распорядиться, чтоб тебе в известный день и час приносили обед, но только не часто. Ты не забудь, что у тебя отец и мать, а они редко тебя видят. Это нехорошо".

Наконец у меня блеснула мысль: почему бы мне не жениться на ней. Ведь лучшей жены, думал я, нельзя уже найти; но, признаюсь, неравенство положений — этот вечный предрассудок — затушил мою мысль. К моему удивлению, как-то раз поутру, против обыкновения, на мою половину зашла мать и нежно стала жаловаться, что я совсем забыл ее, что мы почти не видимся. "Поутру уезжаешь на службу, не повидавшись, — говорила она, — а вечером возвращаешься тогда, когда мы уже в постели". Я хотел было извиниться, но она остановила меня: "Не сочиняй ничего, я все знаю, знаю, где ты проводишь время, и, признаюсь, согрешила — через некоторых добрых знакомых узнала об ней все. Знаю, что она добрая, скромная девушка, и если ты и сам в ней все находишь и думаешь, что она необходима для твоего счастия, так лучше женись на ней. Я уже говорила об этом с отцом, и он согласен". Я не знал, как и благодарить ее, и рассказал ей все наше прошедшее. Это имело на матушку такое влияние, что она рыдала, как дитя, и в порыве материнского чувства обняла меня, поцеловала и благословила, приговаривая: "Нет, голубчик, женись, непременно женись. Бог тебе дает не жену, а сокровище. Да и на душе твоей будет большой грех, когда ты этого не сделаешь, а уж нам, старикам, будет вечная радость. Кроме того, что ты будешь постоянно дома на наших глазах, ты будешь еще и счастлив, владея таким сокровищем". Я в тот же день после службы отправился к ней с приятной вестью, и, когда вошел, она узнала по лицу, что случилось что-нибудь приятное. "Что с тобой?- спросила она. — Я давно не видала у тебя такого веселого лица". — "Да, я принес тебе радостную весть для нас обоих. Старики мои как-то узнали о тебе и позволяют мне жениться, и вот, дружочек, я, как жених, прошу твоей руки". Выразить ее радость невозможно. Она залилась слезами, обвила мою шею обеими руками и говорила сквозь слезы: "Теперь, мой милый, я вполне счастлива, поступок твой доказывает ясно, что ты меня любишь так же сильно, как я тебя. Чтоб отблагодарить тебя за всю твою любовь, я не пойду за тебя. И на что мне идти? Ведь я счастлива. Я знаю, что это жертва с моей стороны, но она для полного моего счастия необходима. Ты рассуди сам: ты просишь руки с воли родителей; удовлетворяя твое желание и сделавшись твоей женой, чем бы я заплатила тебе за любовь и за доброту твоих родителей? — неблагодарностью. Я внесла бы с собой в твое семейство позор; ведь люди не забудут, что я была такое, не простят моей дерзости и разными намеками будут шпиговать меня, а вы из-за меня должны будете краснеть перед всеми. Обдумай хорошенько мой отказ, оцени его, как следует, и ты сам увидишь, что я делаю то, что должна сделать честная девушка. Предложение твое я глубоко оценила сердцем, оно совершенно уверило меня в твоей любви, чего же мне больше? Я счастлива, не осуждай моего отказа, он идет прямо от сердца".

Д. очутился в самом тяжелом положении и поспешил ко мне с просьбой поговорить с нею, объяснить, что это с ее стороны излишняя жертва. "Я знаю, что она вас очень уважает, — прибавил он, — и слова ваши для нее будут действительнее". Я обещал исполнить его просьбу и тут же прибавил, что поступок с ее стороны благороден, что осуждать его ни у кого недостанет духу, что я душевно желаю, чтобы мои хлопоты принесли пользу, хотя, после всего сказанного им, сомневаюсь в успехе. На другой же день я был у нее и действительно не имел успеха. "Я не сказала ему главной причины моего отказа, — заметила она, — но вам скажу в надежде, что это останется между нами. Сделавшись его женой, я каждую минуту должна страшиться за него и за себя. На свете так много злых языков! Кто-нибудь язвительно посмеется надо мной, и, при его любви ко мне и пылкости в характере, он вздумает защищать меня; из этого может выйти ссора, которая, пожалуй, кончится дуэлью и даже его смертью, и я буду тому причиной. Поставьте себя на мое место и судите, как бы вы поступили. К стыду моему, я должна еще прибавить, что страшусь и кое-чего другого: когда, сидя у меня, он жалуется, что у него болит голова, я этому верю, потому что если б он разлюбил меня, то мог бы меня оставить, а когда я сделаюсь его женой и у него в самом деле заболит голова, я, несчастная, могу подумать, что все это происходит от меня. Что ж это будет за жизнь! Нет, мое решение неизменно. Благодарю вас, Михаил Семенович, за участие, сожалею, что не могла исполнить ваше желание, тем более что я вас очень уважаю; не забывайте меня и сохраните в тайне то, что я вам сказала".

Когда я передал ему наш разговор и ее твердую волю, он стал просить у меня совета: что же делать? Я посоветовал ему обратиться к матери. "Так как родители уже изъявили свое согласие, упросите вашу матушку, — сказал я, — съездить к ней и самой переговорить с нею".

Он так и сделал, но через несколько времени я узнал, что она согласилась на одну только уступку, и то по просьбе старухи-матери, которая убеждала ее со слезами на глазах. "Не лишай же нас сына, — говорила старуха, — переезжай к нам в дом; ты будешь иметь особую комнату, и сын будет с нами". На это она согласилась. Когда она переселилась к ним в дом, с ней обходились как с невесткой; но она постоянно держала себя в стороне от общества. Например, она сидит с стариками и читает им что-нибудь (она очень хорошо читала и тем доставляла большое удовольствие); вдруг у подъезда застучит экипаж — она тотчас вскакивает и уходит с книгою в свою комнату. Старики от нее ожили, они не могли налюбоваться на нее и иногда заводили речь о браке, но все было напрасно. Это продолжалось не менее двух лет.

Как-то на разводе он простудился и, надеясь на свою молодость, думал обойтись без медицины. У него сделалась страшная нервическая горячка. Тут на нее нельзя было смотреть без сострадания. Она не отходила от него ни днем, ни ночью и уже не пряталась, кто бы ни приезжал навестить больного. Наконец доктора сказали, что он в большой опасности, что завтра будет перелом, и, бог даст, может быть, молодая натура возьмет свое. И в самом деле на другой день он пришел в себя и стал узнавать всех, только был еще очень слаб. Доктора сказали: "Ну вот, слава богу, получше: что-то завтра будет? Не давайте ему много говорить, это при его слабости вредно, а лучше рассказывайте ему что-нибудь забавное, чтоб он иногда улыбался, это для него было бы хорошо". И, по словам матери, она, бедная, исхудалая, сочиняла для него забавные рассказы. Право, жаль, что некому было записывать! И откуда что бралось у нее! Когда случалось, что при рассказе больной улыбался, радости ее не было границ. Так она занимала его до последней минуты его жизни. Болезнь взяла свое. Больной скончался, и в комнате его послышался страшный истерический хохот. Вбежавшая мать нашла его уже мертвым, а она с страшным хохотом говорила что-то бессвязно и дико. Приехал доктор и сказал, что она сошла с ума.

И вот прошло уже двадцать пять лет, а она все хохочет и вяжет чулки для покойника. Я думаю навестить ее в сумасшедшем доме, взглянуть на нее.

Было бы грешно не записать этой истории.

У них осталось двое детей, которые были помещены в воспитательный дом. Мать покойника, по смерти своего мужа не имея близких родственников, обратила все свое состояние в деньги и положила их в ломбард на имя детей своего сына. Где они теперь, что с ними сделалось — положительно не знаю.

XI.

Посещение М.С. Щепкиным Московского генерал-губернатора князя Д.В. Голицына в Рожествене

С.Т. Аксаков в своих литературных воспоминаниях очень много говорит о московском театре и, между прочим, об Александре Ивановиче Писареве, который служил при театре помощником репертуарного инспектора. Это была замечательная личность. Много им рассказано об нем очень интересного, но много еще не досказано. Кое-что он упомнил, а кое-чего он и не знал подробно. Считаю святою обязанностью дополнить все, что упущено. Это еще более пояснит эту даровитую натуру. Так, например, он упоминает о двух случаях. Первое — о сюрпризе, данном труппою и многими почитателями его сиятельства в Рожествене, в день именин Дмитрия Владимировича Голицына и для которого писал Писарев куплеты. Второе — как один Писарева водевиль был публикою ошикан. И первое и второе имели свое предыдущее и последующее, и все это вместе дорисовывает и эту великую болезненную и желчную натуру, а равно пояснит, кто и в каком положении мы были в обществе, а равно покажет ту перемену, которая изменила все общество в отношении к артистам, чему был главною причиною сюрприз, данный в Рожествене истинно покровителю искусства, Д.В. Голицыну.

Месяца за полтора или, может быть, и менее до упомянутого праздника Писарев по обязанности своей сделал маленькое замечание актрисе Вятроцинской за ее неисправность и невнимание к своим обязанностям, и сделал это довольно деликатным образом. Но она не поняла этой деликатности, очень оскорбилась, и при первом случае пожаловалась князю, и в жалобе своей изменила всю сущность дела, и в дополнение прибавила, что он ее при всей труппе оскорбил и что наговорил ей грубых фраз. Князю, при его прямодушии, никак не могло прийти в голову, чтобы женщина могла бесстыдно лгать, он принял это за истину и, смотря на искусство с уважением, приказал Кокошкину, директору театра, чтобы он передал Писареву, чтобы он умел обходиться с дамами и не позволял бы себе неприличного тона, а не то он князь выгонит его из службы.

Можете себе представить, какое страшное действие произвели эти слова на эту болезненную натуру. А тут еще Загоскин приставал к нему с предложением написать Дмитрию Владимировичу куплеты для написанной им интермедии. "Да,- желчно ответил Писарев,- стану я ему писать куплеты, разве за то, что он хочет выгнать из театра, который в настоящее время составляет всю мою жизнь".

Но когда прошел порыв негодования и, припомнив эту благородную личность, его современный взгляд на искусство, и припомнив все то, что было в нем прекрасного, он Писарев ясно понял, что Вятроцинская много наврала такого, чего совсем не было, и что простая чистая душа князя не могла допустить, чтобы женщина могла позволить себе наглую ложь, он Писарев совсем забыл свое, так сказать, оскорбление. И, как в князе столько было прекрасных человеческих сторон, и только взяв их в соображение и не прибегая к лести,- в его куплетах выразилась только одна истина, и вылилась так тепло, так симпатично, что все приходили в восторг и в день праздника, который весь рассказан г.Араповым в особой брошюрке. Потому я не скажу о нем ни слова, а скажу только о том впечатлении, какое произвели куплеты на князя и во время чтения их на сцене и потом, когда подали их князю, то, и читая их, он рыдал, как ребенок.

Да! Видеть старца, украшенного сединами и заливающегося сладкими слезами, несмотря на свой высокий сан,- все это сильно шевелит душу.

А что же было в этих куплетах? Ничего более, как прошедшая его, ничем не упрекнутая жизнь, и только.

После представления нас всех пригласили в гостиную. И, высказав свою благодарность прежде начальству, потом обратись к Писареву и взяв его за руку, князь и сказал: "Вы меня, старика, такою минутою подарили, какой я никогда не забуду, и смело скажу, что в продолжение всей моей жизни отрадней этого дня я ничего не помню".

Потом, обратись к нам, изъявил нам свою благодарность и предложил нам быть его гостями и, главное, быть совершенно свободными. И в продолжение целого вечера он очень часто оставлял всех гостей, обращался к кому-нибудь из нас совершенно просто, без желания дарить нас своим вниманием.

Да! Были тут в первый раз в жизни, были приняты не как актеры, а тоже как люди. Надо было видеть, какое влияние имело это, не говорю на нас, а на Писарева,- и тут, сжав мне руку: "Да, жаль, я не знал еще этой стороны его" говорил Писарев. Но что же было с ним, когда за ужином князь оставил всех и поместился между нас, говорил мне об этом искусстве, в каком состоянии оно находилось в Европе, и предложил тост, чтобы драматическое искусство развивалось художественным образом; потом другой тост за артистов, которые подарили его таким вечером, с душевным желанием нам великих успехов именно в искусстве.

XII. Рассказ М.С. Щепкина о его выкупе

"…" возвратясь в Полтаву, подписка продолжалась. С.М.Кочубей подписал 500; полковник Таптыков играл в карты на мое счастье и половину выигрыша подписал -1100 руб. Вся эта подписка поручена была кому-то из канцелярии князя; и как это было не слишком аккуратно делано, то к тому времени, как он известил о возможности окончить дело, то собранных денег оказалось налицо 5500 руб., остальные недостающие деньги князь положил свои. И Новиков призвал меня к себе на дом и говорит, что князь поручил ему меня спросить, что нет ли у меня в Курске такого знакомого человека, которому бы князь мог дать доверенность и переслать деньги для расчета с опекуном, а равно и составить формальный акт. Я говорю, что в Курске есть человек, который меня всегда ласкал и давно знает, это директор гимназии И.С. Кологривов, — он же был и директором театра, — и я уверен, что он, по доброте своей, не откажется похлопотать для моего счастья.

— Так ты, говорит, напиши к нему и попроси его, чтоб он для князя, а вместе с тем и для тебя принял на себя эти хлопоты, и что ежели он согласен, то известил бы тебя о своей готовности быть тебе полезным в сем случае, а вместе с тем он доставит и князю большое удовольствие.

Разумеется, я написал к Кологривову и чрез полнедели получил ответ, которым он извещает, что душевно рад быть мне полезным и что он князю будет очень благодарен, что он поручит ему это благородное дело, и "спасибо тебе, что отнесся ко мне и не к кому другому, — это значит, что ты помнишь, как я тебя всегда любил, даже еще в народном училище, когда ты учился".

Письмо к Новикову я отнес, и князь деньги 8500 (500 руб. на совершение акта) и доверенность на совершение акта при своем письме послал к Кологривову. В исходе 1818г., кажется, в декабре. Котляревский известил меня, что все кончено и купчая крепость прислана князю.

Эта весть так меня озадачила, что я не скоро собрался с духом спросить, какая крепость — ведь меня князь выкупал, а не покупал. Наконец решился спросить и в ответ услышал вот что.

— Это, говорит, сделано по необходимости. Опекун спрашивал разрешения для продажи, следовательно, и акт должен состояться в такой же форме, а к тому же князь своих прибавил 3000 руб., которые ты обязан, разумеется, заслужить.

— Что же,- говорю я,- отца с семейством мне надо перевезти в Полтаву, то попросите князя, чтобы он написал к опекуну, чтобы он хотя ссудил подводами для перевозки моего семейства, а то в настоящем моем положении я не имею средств, а и жить на два семейства тяжело, ибо, по совершении купчей, отец мой, вероятно, лишится тех пособий, которые получал от имения, как и вообще все дворовые люди.

— Об этом я, говорит, скажу князю.

— Да попросите, пожалуйста, чтобы до весны не лишали его, потому что тотчас нельзя ему отправиться. У него было хозяйство, скот, лошади, пчелы,- все это надо продать, хоть за бесценок.

— Хорошо, это все князь напишет.

И вот я, вместо свободы, опять крепостной, с тою только разницею, что прежде отец получал от управляющего делами, по назначению бывших господ, хлеб, крупу, дрова, сено и жил в своем доме, а теперь все это будет на моих руках: отец, мать, брат, четыре сестры, племянница, потом я с женой и тремя детьми, что составит несчастное число тринадцать. Какой из этого будет выход, один бог разгадает. Подумаю, что при двух тысячах жалованья, которое я получаю, с тринадцатью душами семейства я никогда не выплачу князю 3000, которые я[3] заплатил. Хотя в Полтаве жизнь и не дорога, но все этих денег недостанет на содержание семейства: одна квартира с дровами около 500 руб., потом работница, потом на тринадцать человек чайку, сахарцу, потом пища, обувь, одежа. Ну, думаю, у меня жена мастерица шить, сестры будут помогать, бог даст, как-нибудь проживем, а в будущем, что бог даст. И еще добросовестнее начал заниматься моим делом и более подумывать о том, что играешь.

Наконец пришла весна, семейство отца перевезено в Полтаву, не на подводах, а отец мой нанял извозчиков, и, как продал все хозяйство, по скорости хотя очень дешево, и у него были деньги, чем заплатить, и мы устроились помаленьку хозяйством.

Брата, который взят был из уездного училища, вскорости поместили в гимназию, по ходатайству директора Котляревского, и пошла наша жизнь тянуться самым недостаточным образом.

Конец.

**Примечания**

1

Эти слова, как известно, написаны рукой Александра Сергеевича Пушкина. — прим. ред.

2

Читателю может показаться очень странным, что мужчина говорит девушке "ты", а она ему "вы"; но таково было доброе старое время! (Замечание автора.)

3

Явная описка М.С. Щепкина. Речь идет о Н.Г. Репине.